



ПРИХОДСКАЯ №53 Газета

ИЮЛЬ - АВГУСТ 2007



ХРАМА СВ. БЕССР. КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ

31 ИЮЛЯ 2007 Г. СОРОК ДНЕЙ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА



ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

Тема большого, в нравственном смысле этого слова *большого* закона, что чем-то принципиально отличается от тех законов, которыми руководствуются люди в обыденной жизни, которыми руководствуются судьи, когда наказывают преступников, и так далее, — эта тема большого закона все-таки присуща не только Священному Писанию, но и культурам различных языческих народов.

На рубеже VII–VIII вв. до н. э. греческий поэт Гесиод (тот самый Гесиод, у которого Осип Мандельштам взял слова «на каменных отрогах Пиэрии водили музы первый хоровод») рассказывает в своей поэме «Труды и дни» о том, как началось становление человечества. Так рождается первая в истории европейской цивилизации историософская схема. «Создали, прежде всего, — говорит Гесиод, — поколения людей золотое вечно живущие боги». Жили люди со спокойной и ясной душой, «недостаток был им ни в чем неизвестен, большой урожай и обильный давали сами собой хлебодарные земли».

Если сравнивать это место из Гесиода с первыми главами Книги Бытия, то можно легко понять, что именно в таких условиях живет в саду Эдемском Адам. Ибо Бог дал ему «всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево», и только после изгнания из рая он был обречен возделывать землю, из которой взят и в поте лица есть хлеб свой. Таким образом, представления о временах, когда урожай «давали сами собой хлебодарные земли», присуще как библейскому рассказу об Эдеме, так и представлениям древних греков о Золотом веке, что сохранены Гесиодом.

Золотой век в этой схеме сменяется серебряным, затем медным и так далее. Люди перестают почитать богов и начинают любить грозное дело Ареса, то есть войну друг с другом, и наконец

наступает железный век, когда между братьями исчезает любовь, когда дети отказываются почитать родителей, а правду заменяет собою кулак. Так на смену древней *pietas*, то есть древнему благочестию, приходит право силы, право, при господстве которого человек озверевает.

Еще несколько строк из Гесиода.

И не возбудит ни в ком уваженья
ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый,
скорей наглецу и злодею

Станет почет воздаваться. Где
сила, там будет и правда.

Стыд пропадет, человеку хорошему
люди худые

Лживыми станут вредить показаньями,
ложно кляняся,

Следом за каждым из смертных
пойдет неотвязная зависть».

Нельзя не заметить, что эта картина во многом напоминает ту, что дается в Священном Писании: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт: 6, 5). Предел умножению греха кладет закон. Так появляется Десятизакон или Декалог, формулировки которого заставляют вспомнить о том, что ужасает и Гесиода. Это и ложная клятва, которой человек один вредит другому — девятая заповедь, это и зависть — десятая заповедь. Тот маленький фрагмент из Гесиода, который был процитирован выше, говорит именно об этих двух последних заповедях Декалога.

Если же разобрать античный материал по-настоящему серьезно, то здесь могут быть найдены аналоги и другим заповедям. Разумеется, за исключением первых, то есть тех, которые напрямую связаны с Откровением и той правдой, которую возвещает человеку не Неведомый, если использовать термин апостола Павла, но именно **Открывшийся** Бог, Бог, который вывел **тебя** из земли Египетской.

В отличие от моральных постулатов, формулируемых античными авторами и восточными мудрецами, заповеди Моисея отличает не абстрактный морализм, а конкретная обращенность напрямую к тому, кто слушает или читает этот текст в данный момент. Хотя по содержанию аналоги практически всех заповедей можно с легкостью найти в греческих текстах VII–VI веков до

н.э., в эпосе или лирических поэмах, в крайнем случае, у Эсхила или Софокла.

Другой античный поэт, живший на семь веков позже Гесиода, — Овидий, современник Августа и, таким образом, начала новой эры, возвращается к образу сменяющих друг друга веков: Золотой сменяется Серебряным, Серебряный — Медным, Медный — Железным. Золотой век, по Овидию, отличается то, что люди тогда *sponte sua sine lege fidem rectumque colebant*, — то есть сами собой, без закона (*sine*



lege), спонтанно, без какой-то идеи, без какого-то внешнего принуждения и т.д., практиковали, как бы внедряя в жизнь, верность справедливости. Именно не соблюдали, не хранили, а активно практиковали (*colebant*), подобно тому как *colit*, то есть обрабатывает, свое поле земледelec.

Верность справедливости, которая здесь, в латинском тексте Овидия, названа словом *rectum*, — по гречески это, разумеется, будет «дике». Отсюда греческая богиня Дике, но отсюда же и евангельское слово «дикеосини» — справедливость, например, в словах Нагорной проповеди «блаженны изгнанные **правды ради**» — то есть из-за их справедливости (Мф. 5:10).

Итак, с точки зрения Публия Овидия Назона, древний человек, не зная закона, сам по себе жил по правде, верность этой правде воплощая в практических делах. Именно об этом говорит апостол Павел, когда пишет о том, что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, — гово-

рит дальше апостол Павел, — то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их» (Рим 2:14–15).

Вообще у апостола Павла можно найти немало точных цитат из греческих авторов. Что касается латинских авторов, здесь все обстоит сложнее, поскольку ни сам апостол Павел, ни его сотрудники не знали латыни. Поэтому утверждать, что он цитирует здесь или использует Овидия довольно сложно. Скорее оба они, и апостол Павел, и римский поэт, берут эту формулу из какого-то общего греческого источника, который нам просто неизвестен, поскольку до нас не дошел.

Итак, древние люди *sponte sua sine lege*, то есть, не зная закона, воплощали в жизни *fides* — верность или веру, по латыни это одно слово. Там, где нет закона, там *fides* абсолютно необходима, но природа ее такова, что без особой поддержки свыше, поддержки, которую мы называем словом «благодать», она уязвима и хрупка. И именно поэтому (в силу ее хрупкости) золотой век в конце концов сменяется железным.

Еще одна цитата из «Метаморфоз» Овидия. «С вредным железом тогда железа вреднейшее злато/ вышло на свет и война, что и златом крушит, и железом,/ в окровавленной руке сотрясая со звоном оружие./ Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен,/ в зяте — тесть; редка приязнь между братьями стала./ Муж жену погубить готов, она же — супруга./ Пало, повержено в прах благочестье». Коль скоро *pietas* — благочестье — *iacet*, то есть лежит поверженным, как воин на поле боя, то *fides* — верность или вера — теперь уже не является той путеводной звездой, что поведет человека по жизни. Теперь человеку требуется закон, который будет останавливать его своим «нельзя» в тех случаях, когда тот будет его переступать. «Нельзя», «недопустимо», «грешно», «запрещается», «не позволено» и т.д. — вот те многочисленные формулы, которые в древних законодательствах у разных народов, в том числе и у греков, вводят те или иные положения.

В отличие от них, Десятизакон, или Десять заповедей Моисея, в содержательном плане предваренное и повторенное десятки, если не сотни раз, в плане формы резко выпадает

из всех этих текстов — вавилонских, греческих, ассирийских, римских и т.д. Выпадает своей обращенностью к человеку, к тому, с кем сам Бог говорит на «ты». Иначе говоря, Десятисловие отличается от любого другого древнего законодательства своим императивом, своей обращенностью к человеку.

В Афинах, на Акрополе, долгое время, веками, хранились так называемые кирбы. В III веке до нашей эры их видел писатель Полемон из Илиона. Перевод текстов этого писателя я сделал в конце семидесятых годов (тогда же он был опубликован в журнале «Вестник древней истории»). Кирбы представляли собой деревянные пирамидки, на которых были написаны законы Солона, и чисто внешне напоминали ветхозаветные скрижали. Напоминали они скрижали и по содержанию, потому что в этих законах были сформулированы какие-то главные постулаты, сообразно которым должен жить человек. Они сохранялись на Акрополе как минимум в течение четырех веков как большая святыня для всякого афинянина. В них, если сравнивать кирбы с законами Солона со скрижалями Завета, не было только одного — обращенности к человеку, в которую уже заложен элемент диалога, диалога между Богом и человеком, и наоборот, человеком и Богом, тех отношений, которые строятся по принципу: Я — Ты, Ты — Я, о чем так много говорили в течение XX века такие богословы, как Мартин Бубер, Габриэль Марсель, о. Сергей Булгаков и С. Франк, того диалога, что является непременным условием того, чтобы благодать Божия начала действовать в нас.

Старший современник Овидия Вергилий тоже знает о теории Золотого века и исповедует теорию Золотого века, или Сатурнова царства, но только, в отличие от большинства античных мыслителей, Вергилий считает, что Золотой век еще вернется, причем очень скоро, на грешную землю. В четвертой из десяти своих эклог и пастушеских поэм Вергилий восклицает:

«Сами домой понесут молоком отягченное вымя/ Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут./ [...] Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом/ Сгинет [...]».

Внимательный читатель, наверное, сразу же вспомнит Исайю: «и будут пастись овцы по своей воле»

(Исайя 5:17); «Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Исайя 1:6-8). У Исайи присутствуют те же самые образы, что всплывут в четвертой эклоге Вергилия. О том, как насту-



пит эта *reversio*, или возвращение Золотого века, говорит еще один римский поэт — Альбий Тибулл. Тибулл говорит: «мир уступил и блещет с мотыгой плуг, а доспехи мрачные тихих бойцов в темном ржавеют углу». Итак, мотыга и плуг заменяют печальные мечи сурового воина. Так пишет поэт, воспевая эпоху, когда в Риме закончились гражданские войны. Но если мы рассмотрим в эти строки, то, конечно, узнаем того же Исайю и слова о том, как «перекуют мечи свои на орала и копыя свои на серпы»: там, у Тибулла, действительно упоминаются и «орала» и «серпы» (*bidens vomerque*); он говорит, что *bi-dens*, то есть плуг с двумя зубцами, и *vomer*, то есть серп, блещат (*nitent*), а оружие ржавеет.

Но, мало того, этот же образ можно найти и у Вергилия, правда, в другом контексте. Он, наоборот, говорит о том, как вспыхивают кругом, по всей империи, войны после убийства Юлия Цезаря: «Нет уже плугу должной чести, поля засыхают с уходом хозяина, серп кривой на

меч прямой перекован».

Если у Исайи перековываются мечи на орала, здесь, наоборот, серп перековывается на меч. Понятно, что один образ настолько близок к другому, что это уже никак не может быть простым совпадением. Далее оказывается, что поэт уверен, что скоро наступит время, когда «сомнутым плугом своим борозду прорезающий пахарь дротики в поле найдет, изъезвленные ржою шершавой, тяжелой мотыгой своей наткнется на шлемы пустые». Это означает, что опять наступит время, когда место воина займет пахарь. Тот же образ из того же места — из пророчества Исайи. Поэтому закономерно возникает вопрос: а читали ли Вергилий с Тибуллом Исайю или нет?

Нет, не читали. Более того, они ничего не знали о Библии, а иудеев считали простодушным восточным народом, находящимся в плену каких-то нелепых суеверий. *Credat iudeus Apella* («пусть в это верит иудей Апелла»), — восклицает Гораций, имея в виду, что только иудеи могут поверить во всякую чепуху, в которую римляне давно уже не верят. Это говорит не простой римлянин, но Гораций, который, скорее всего, сам был ближневосточного, если не иудейского происхождения.

Однако и Вергилий, и другие его римские современники прекрасно знали александрийскую поэзию на греческом языке, стихи и ученые, дидактические поэмы, созданные в III, II и I веках до н.э. Стихи, написанные в эллинистической Александрии, в Египте, в устье Нила, в том самом городе, где появился на свет Перевод семидесяти, Септуагинта — греческий Ветхий Завет. А эти поэты, жившие в Александрии, использовали в своих стихах Исайю. Вергилий же и его современники просто брали материал у них, то есть прикасались к библейским текстам через посредство этих авторов, которых мы в большинстве знаем только по именам, потому что Александрийская библиотека сгорела и их сочинения погибли.

Из Исайи, прочитанного посредством его александрийских читателей, античный мир узнает о том, что Золотой век, то есть время, когда человек будет в состоянии практиковать верность правде (*fidem rectumque*) само собой, без закона, может возвратиться на землю. Но при каком условии будет это возможно? Для античного мира этот вопрос

остаётся как бы за кадром, античный мир на этот вопрос не отвечает, хотя Вергилий почти цитирует стих Исайи «Се Дева во чреве приимет и родит сына» (Исайя 7:14), потому что он говорит *Iam redit et Virgo* — «вот уже Дева грядет». Именно так перевёл это место Владимир Соловьёв, как бы подчеркивая то, как видели это место средневековые читатели и комментаторы.

Не случайно поэтому изображение Вергилия можно найти среди фресок на одной из стен Благовещенского собора Московского Кремля среди святых. Также и Данте в «Божественной комедии» именно его делает своим проводником во время странствия по аду — именно из-за этого текста. Однако на самом деле Вергилий говорит не «грядет Дева», но «возвращается Дева». И имеется в виду, конечно, не Дева библейского пророчества, о которой «радуется всякая тварь, ангельский собор и человеческий род», но Астрея, то есть античная богиня справедливости, воплощённая справедливость древнего мифа — справедливость, о которой Овидий говорит в «Метаморфозах», описывая наступление железного века: «И дева Астрея, последняя из небожителей, покинула загрязнённые убийством земли».

Таким образом, для античного мыслителя — и для Овидия, и для Вергилия, и для многих других писателей, поэтов, философов и т.д., — речь идет не о наступлении чего-то нового, но о возвращении старого, о возвращении того прекрасного и незамутнённого грехом и пороком прошлого, с чего начиналась некогда человеческая история. Итак, человек, переживая минуты озарения, просветления, надеется на восстановление древней справедливости и того особого и безгрешного миропорядка, память или представление о котором каким-то образом сохранились практически у всех народов.

Однако в реальности все происходит по-другому. «Не видел того глаз, — говорит Исайя, и повторяет апостол Павел (Ис 32; 1 Кор 2:9), — не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Осуществляется не восстановление старого, но в жизнь входит новое, в мир приходит Христос. «Ныне, — говорит апостол Павел, — независимо от закона (это греческое выражение абсолютно равно *sine lege* — «без закона» Ови-

дия) явилась (причем не вернулась, как было бы у Вергилия, но именно явилась) впервые правда Божия» (Рим 3:21). Но только не «дике» — не богиня справедливости Дике, или Астрея, древнего мифа, но «дикеосини Феу», правда Божия, о которой, как говорится у апостола Павла, «свидетельствуют закон и пророки» (если дословно — «которая ранее засвидетельствована была законом и пророками»). «Правда Божия, — повторяет это выражение Павел во второй раз, — через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия» (Рим. 3:22). Так в мире начинается действовать благодать.

В чем различие между «дике» и «дикеосини»? «Дике» — это справедливость, выраженная в решении суда, а «дикеосини» — это та же справедливость, но воплощённая в жизни человека. «Дике», справедливость, о которой говорят античные поэты, — это та справедливость, что выражена в мудром, правильном решении суда и существует как бы вне человека и независимо от него — на пергаменте, на папирусе, высеченной на каменной стеле и так далее, но как бы помимо человеческой личности. «Дикеосини» — это та же самая справедливость, но только воплощённая в реальной жизни живого и конкретного человека. Там — норма, здесь — реальность, воплощённая в конкретной жизни, сначала Сына Человеческого, затем тех, кто по Его слову идет вслед за Ним. В этом сила и главная особенность христианства — в его жизненности и воплощенности в конкретном опыте, в конкретном пути живого человека, в отличие от той нормативности, которую предлагают практически все без исключения учения, которые накопились у человечества за тысячи лет его истории.

Иисус входит в мир как **воплощённая Тора, воплощённый Закон**, как Завет, сконцентрированный в личности Сына Человеческого; поэтому выполнение закона заменяется следованием за Христом и жизнью в благодати Божией — «подражанием Христу», если использовать термин апостола Павла в I Послании к Коринфянам. Живой диалог с Воскресшим заменяет собой необходимость знать Тарияг, то есть каждое из 613 положений Закона. Дух диалога, что так неожиданно и так выпукло был некогда провозглашен в Десятисловии введением в него прямого обращения Бога к

человеку: «Я Господь, Бог твой, Который вывел *тебя* из земли Египетской» (Исх. 20:2), дух диалога, так потрясюще выраженный в слове «тебя» в первой заповеди, торжествует окончательно. Так наступает Царство благодати.

При этом закон, конечно же, не отменяется: об этом прямо говорит Нагорная проповедь; не отменяется, но как бы уходит в тень и приобретает новое назначение. Он начинает играть роль своего рода ориентира или дорожного знака, который предупреждает об опасности, когда красный свет запрещает нам переходить через улицу. Это делается не для того, чтобы торжествовала норма, и не потому, что это грешно, бесчестно или нечестиво — переходить улицу на красный свет. (Хотя иногда милиционеру кажется, что именно чтобы торжествовала норма, установлено правило не двигаться, пока горит красный свет.) Нет, светофор загорается, прежде всего, по той причине, что перебежать улицу, когда по ней движется поток машин, опасно для человека, для жизни его, для окружающих, для водителей на дороге и т.д. Когда написано: «Осторожно, гололед», — то эта надпись ничего не запрещает, но тоже указывает на опасность. Так, закон в том мире, где царствует благодать, — закон, который уже не царствует; однако он указывает на те опасности, которые повсюду подстерегают нас.

Ясно, что соблюдение правил уличного движения ни при каких обстоятельствах не может стать смыслом жизни, но когда вы начинаете их нарушать, то последствия бывают зачастую и непредсказуемыми, и ужасными. Так же обстоит дело с законом в царстве благодати: он существует именно как знак предупреждения на дороге. Тогда как наша жизнь строится уже на основе личных, уникальных и удивительных, отношений, которые устанавливаются у каждого и каждой из нас со Христом, когда мы начинаем читать Евангелие, молиться и участвовать в Таинствах Церкви, когда мы начинаем перестраивать нашу жизнь в свете всего того, что говорит нам Христос, идя за нашим Учителем и Господом по той дороге, которую Он Сам указывает нам.

Священник Георгий ЧИСТЯКОВ
Текст выступления на Встрече
прихода, 7 ноября 2000 г.

Мне хочется сегодня задать и вам, и самому себе вопрос: что мы ищем в Церкви? Во-первых, мы зачастую ищем в Церкви успокоения, лекарства от неврастения, помощи в болезни, беде, ответов на мучающие нас вопросы, сил.

наверное, как описывает Евангелист исцеление хромого, который, сидя перед входом в храм, просил милостыню. И Петр сказал этому больному человеку: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И взяв его за правую

Священник Георгий ЧИСТЯКОВ

ЧТО МЫ ИЩЕМ В ЦЕРКВИ?

Во-вторых, мы иногда ищем в Церкви идеологию, традиционную веру Древней Руси, нашу отечественную религиозность, религиозное обоснование державной идеи.

В-третьих, мы иногда ищем в Церкви православную культуру: пение, иконопись, архитектуру.

В-четвертых, бывает, мы ищем в Церкви какой-то способ удержаться себя от зла, греха, порока, иными словами — узду.

А на самом деле? А на самом деле в Церкви нужно искать и имеет смысл искать только Иисуса! Потому что, если Он входит в нашу жизнь, в ней действительно все меняется! Церковь Господь наш учредил только для одного: чтобы она была местом нашей с Ним встречи. И когда входит Он, Христос, в нашу жизнь, то и успокоение в нее входит, и помощь в болезни и беде мы от Него тогда получаем, и силы у нас появляются.

Христос действительно укрепляет. Я открываю третью главу Деяний Апостольских — вы помните,



Мазаччо. Исцеление хромого Петром и Иоанном

мы можем предаваться порокам — пьянствовать или играть, или делать еще что-то такое дурное. И мы думаем: вот пойду в Церковь, и Господь накинёт на меня узду, Господь подчинит меня Своей правде. Но Он ее не дает! Он не дает нам узды: Он ничего не запрещает — Он только показывает, что Ему больно, когда мы делаем что-то плохое. И в этом, родные мои, наверное, одно из принципиальнейших отличий христианства от любой другой религии, от всех религий мира: потому что любая религия строится на системе ритуальных запретов — а Христос нам ничего не запрещает. Именно на это указывает Апостол

Павел, когда говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6:12).

Христос позволил нам всё, отменил все запреты только по одной причине: потому что Он ждет от нас любви, потому что Он ждет от нас, чтобы мы не делали Ему больно! И, таким образом, узду, если мы ищем именно узду, Церковь нам не дает, Церковь, наоборот, дает нам свободу. А Христос, присутствуя в нашей жизни, встречая нас в Церкви, ставит вопрос: «А для чего ты будешь использовать эту свободу?»

* * *

А идеология? Сегодня все больше раздается голосов о том, что Церковь обеспечивает какую-то новую идеологию. Нет, идеология к Церкви не имеет никакого отношения. Потому что всё, что мы находим в Церкви, связано с нашей личной верой и основано только на нашем личном религиозном опыте, а идеология всегда основана на теории, на той или иной доктрине. Идеология — это всегда система взглядов, которая не зависит от нашего личного чувства, а вера основывается на нашем личном религиозном опыте.

Несколько лет назад я слышал по телевидению и все никак не могу забыть эту фразу — один писатель сказал: «Я атеист, но православный атеист». Так вот, это — страшно. Невозможно быть православным атеистом, потому что православие не есть система взглядов, православие не есть образ жизни, православие не есть комплекс ритуалов. Православие — это прежде всего вера в присутствие Христова в нашей жизни, православие — это прежде всего та вера Евангельская, подвизаться за которую призывает нас Апостол Павел. Почему-то, когда кто-нибудь из нас произносит словосочетание «вера Евангельская», слушатель тут же вспоминает о баптистах. А на самом деле это выражение взято из послания Святого Апостола, и Евангельской является вера каждого и каждой из нас, христиан, и православных людей, разумеется, тоже. Так вот, всё, что в Церкви, — все основано на вере Евангельской, и всё, что не относится к этому, — все второстепенно. Поэтому и аскетика, и иконопись, и церковное пение, и устав жизни, предложенный Церковью для всех нас, — бессмысленны и теряют смысл, если нет живой



веры во Христа. Только живая вера во Христа превращает, например, пост из бессмысленной диеты в спасительное время. Если кто постится, но во Христа не верит, — это не пост; если кто украшает свой дом иконами и во Христа не верит, то эта икона уже не святыня, эта святыня поругана. Вот это очень важно понять, почувствовать. Если кто-то говорит об опыте Церкви и, опять-таки, забывает о том, чему Иисус нас учит, то это уже не опыт Церкви — это просто примеры из русской истории такого-то века.

Православие, кроме всего прочего, не может быть русской идеологией, потому что оно — не русское, православие — оно вселенское. Румыны, болгары, греки, арабы, грузины, многие американцы — такие же православные люди, как мы с вами.

Кроме того, здесь очень важно помнить, что православие не может быть идеологией, потому что это наша *личная* вера. Вера — это как музыкальный слух: одним он Богом дан, другим нет; одному Богом дано верить, другому — не дано. Могу вам сказать, что очень многие говорят: «Я бы хотел верить, у меня есть потребность верить, но не получается». И мне гораздо ближе именно такие люди, которые честно признаются в том, что у них есть потребность в вере, но не получается, чем те, кто жестко утверждает, что и они верят, и что вообще все русские люди должны верить и т.д. Нет, никто не *должен* верить, ведь в том-то и дело, что вера — это наше *свободное* приношение Христу, что это наше *свободное* желание встречи с Ним, что в вере человек *абсолютно свободен*.

Религия не может быть государственной, потому что государственная религия сразу ограничивает свободу веры, сразу ограничивает свободу того порыва, который приводит к Богу, сразу делает веру чем-то обязательным. Я даже думаю так, что, может быть, в те времена, когда Православная Церковь была не в чести у властей, было гораздо проще нам, верующим людям, потому что уже для того, чтобы пойти в церковь, нужна была какая-то смелость, нужно было какое-то дерзновение, это уже был *поступок*. Человек знал, что, идя в церковь, крестясь, он ставит себя под удар, но он свободно выбирал: быть со Христом, а не удобно устроиться в

жизни. Теперь, когда такого выбора нет, иногда возникают пугающие меня ситуации.

Я, например, вспоминаю те времена, когда на Пасху почти всегда устраивался субботник или воскресник. Ведь многие люди в этой ситуации открыто выбирали быть со Христом и говорили: «Я не приду сегодня — у меня Пасха». И их за это иногда выгоняли с работы или преследовали тем или иным способом. Но это уже был *поступок*, это уже был тот порыв, который помогает нам почувствовать Бога, потому что без порыва Бога не почувствуешь.

И сегодня в нашей жизни тоже для того, чтобы почувствовать Христа, нужен порыв. Этот порыв принимает совсем другие формы, но он так же нужен, потому что в вере мы всегда должны сделать выбор между тем, что нам удобно, между тем, что для нас комфортно, между тем, что нас привлекает, и — тем, чего ждет от нас Христос.

Сегодняшние люди, которые населяют Москву и другие города России, в большинстве своем — это уже дети и внуки атеистов, люди, родившиеся уже не в православных семьях. И поэтому так прямо сказать, что все эти люди непременно будут православными, невозможно. Очень многие из них приходят в церковь и слышат там что-то непонятное: они не могут понять славянского языка, они не могут понять чтения нараспев; приходят в церковь, стоят, вслушиваются, пытаются прорваться к Богу, ничего у них не получается, и — уходят.

Мне, например, за последние два дня рассказали два факта. Первый: в одном из московских храмов на литургии Преждеосвященных Даров священник согласно уставу читал Евангелие — долго, красиво, по-славянски, и прихожане — церковные люди, читавшие Евангелие не раз, не десять и не двадцать, а может быть, тридцать, сорок, сто, двести раз, сказали потом: «Мы ни слова не поняли, потому что вот он так нараспев читал, что было непонятно о чем». И второй факт: девушка из такой вот семьи, уже давным-давно не христианской, дочка и внучка атеиста, приходит в церковь и радостно участвует в богослужениях на английском языке. О, ужас! — ей понятнее то, что читается в американской церкви по-английски, чем то, что читается у нас по-славянски!

Это факты, над которыми необходимо задуматься: богослужение должно быть понятным. Хотя мне, например, очень трудно отказаться от славянского языка в богослужении, потому что я его люблю с рождения, с раннего детства, потому что прочитать Евангелие по-славянски — для меня всегда праздник! Но я понимаю, что это чтение будет очень многим непонятно, что надо читать по-русски.

Я уверен, что многие сейчас возмущаются: православный священник призывает к чтению Евангелия на русском языке! Да, это действительно звучит, как какая-то крамола, звучит, как что-то возмутительное, пока в центре для нас стоит чин богослужения, пока в центре для нас стоит верность традиции (мы очень любим это выражение), пока в центре для нас стоят колокольный звон, атмосфера храма, древнее благочестие. Но как только в центре оказывается Христос, многие проблемы сами собой уходят на второй план! И оказывается, что мы копыя ломаем и обсуждаем, на каком языке служить и как проповедовать, и чьему пути следовать — пути отца Александра Шмемана или отца Александра Меня или, наоборот, пути отца Серафима Роуза — только по одной причине: потому что в центре нашей религиозности стоит что-то другое, может быть, что-то очень хорошее (потому что верность традиции — это замечательно, потому что верность древнему благочестию — это тоже замечательно), но не Христос.

Повторяю: пока в центре нашей религиозности стоит что-то, может быть, хорошее очень хорошее даже, но не Христос, — у нас возникает масса проблем: чьими учениками быть, по чьему пути за Христом идти, как именно исповедовать нашу веру, на каком языке служить, сокращать или не сокращать богослужение и т.д. Но когда в центре оказывается Христос, все эти проблемы сами решаются. Все те проблемы, которые казались еще вчера сверхсущественными, сегодня, когда Он вошел в нашу жизнь, уходят на второй план, потому что с нами — Он, и Он Сам делает в нас и через нас то, для чего пришел в этот мир!

Радиобеседа
4 апреля 1996 г.

Священник Георгий ЧИСТЯКОВ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ

ПАМЯТИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ



Среди произведений французской литературы XIX в. есть одно, оставшееся не переведенным на русский язык. Это — «Гений христианства» Шатобриана. Книга была написана после французской революции, после начала реставрации, и адресована она читателю, который в условиях массового атеизма, разрушения церквей, жесточайшего террора уже забыл, что такое христианство. Шатобриан в своей книге не говорит о Евангелии, он даже не касается проповеди Иисуса — он пишет только о богослужении, об архитектуре, музыке, поэзии и т.д., он приводит тексты молитв, песнопений. Шатобриан возвращает своего читателя в атмосферу христианства.

Эту же задачу решал и о. Александр Меня, когда писал свои книги, обращаясь к людям, которые жили при советском строе. Но он справлялся со своей задачей гораздо лучше Шатобриана, который был человеком нецерковным, секуляризованным. Отец Александр — как священник, пастырь, как человек глубочайшей веры, как писатель и ученый — ставил себе гораздо более глубокие задачи. Он обращался к своему читателю, имея в виду не только тех, кто был его современником, но и тех, кто будет жить лет

через 15-20 после него. И это одна из его заслуг.

В своих книгах о. Александр аккумулировал все свои знания, опыт веры, писательский дар. Свт. Василий Великий говорил о себе, что для проповеди Евангелия он использовал всю греческую литературу, всю тысячелетнюю греческую культуру, все интеллектуальные богатства языческой культуры. И о. Александр тоже использовал все свои знания и вкладывал их в свои книги. Но не только это: он как бы перечитывает заново *всю мировую культуру*, пересказывает ее для читателя, размышляя о том, что накоплено человечеством за тысячелетия, с точки зрения христианской веры. К таким обобщениям его читатель 10 лет назад еще не был готов.

Не надо забывать, что вырос о. Александр в уникальных условиях. Он читал богословскую литературу, потому что вокруг него были учителя и пастыри — его старшие современники, — которые знали, любили, умели читать эту литературу, которые сохранили знания и представления о мире с дореволюционных времен. Но в своем поколении, я не побоюсь этого сказать, он был *единственным*, кто обладал такими познаниями и имел такой интерес к религиозной, богословской литературе. В старшем поколении, безусловно, таких людей было немало. Могу вспомнить Льва Ивановича Красовского: ему 87 лет, он на 20 лет старше о. Александра; незадолго до войны его посадили за чтение Вл. Соловьева. Или, скажем, люди младшего поколения, например, Сергей Сергеевич Аверинцев. Но поколение между Красовским и Аверинцевым было совершенно лишено всех этих знаний и не могло даже интересоваться этим. Отец Александр резко выделяется на фоне своего поколения. Он действительно один, он — уникален.

Разумеется, если бы не его умение направить все свои познания на проповедь, вычленив главное и сконцентрировать на нем внимание читателя, он не был бы выдающимся религиозным писателем, ученым,

исследователем. Это одна часть его «я». Второе, и это еще более важно, что он — священник, пастырь. Он был прежде всего священником, который обращался к своему читателю с огромной любовью и опытом веры. Его книги не имели бы такого воздействия, если бы он не служил много лет священником в Новой Деревне.

Главное, пожалуй, заключается в том, что и то и другое было нераздельно в его личности.

Книги о. Александра, за исключением тех, что изданы в Брюссельском издательстве, стали выходить после его смерти. И люди, которые уже прочитали их по первому разу 7—8 лет назад, теперь возвращаются к ним, воспринимая их по-новому. Сейчас интерес к книгам о. Александра возрождается во всем мире с новой силой, — особенно к семитомнику «В поисках Пути, Истины и Жизни».

И еще одно, как мне кажется, важное и характерное обстоятельство. Те люди, которые узнают о. Александра по его книгам, начинают любить его как человека — не только как мыслителя и писателя, но, прежде всего, как пастыря. И это все по той же причине: потому что писатель не отделим в нем от священника, ученый — от пастыря. Он вкладывал в свои книги очень много своего личного чувства, своего понимания, своей веры. Например, книги о. Георгия Флоровского, замечательного писателя и выдающегося богослова, также читаются многими людьми, но о самом о. Георгии из этих книг узнать ничего невозможно, для этого нужно читать воспоминания о нем близких людей, письма и т.д. Что же касается о. Александра Меня, то, читая его книги, даже впервые, многие люди устанавливают с ним личную связь, ощущают присутствие его личности, начинают чувствовать его как человека. При этом его книги дают им реальные знания — знания не устаревающие.

Выступление на вечере памяти
о. Александра Меня,
22.01.2000 г.



22 июля 2007 г., в самый длинный день года, на 54-м году жизни умер Георгий Петрович Чистяков, священник, ученый, писатель, наш родной батюшка, друг, любимый человек...

О кончине о. Георгия мне, плача, сообщила Танечка Скалубович по мобильнику, застав в Ракитках у могилы моей Ленки. Весть для меня не была неожиданностью, но там я все же не сдержался...

Твердо зная, что с таким букетом недугов, который цвел в теле отца, не живут, я каждый день кафизменно просил Господа о чуде исцеления. Но Господь чудесами не частит, не то мы избалуемся, будем не молить, а требовать, ногами топтать...

Помню о. Георгия еще диаконом, уже тогда он вызвал мой интерес и симпатию, а когда его рукоположили, я стал исповедоваться у него. Через скорое время для меня нашлось некое занятие в РДКБ. В больнице мы с о. Георгием перешли на — «ты, Костя», «ты, батюшка». Один раз мне случилось «выкнуть» — его круглые глаза стали еще круглее — что с тобой, Костя?! Откуда это «вы»? Если я скажу, что мы с о. Георгием дружили, то каждый второй, если не чаще, наш прихожанин скажет — Эка, невидаль! Я — тоже! — и это будет правда.

Господи! Как же я люблю этого человека. Тут и самая светлая нежность, и почти благоговение, и радостное удивление — бывают же такие!..

Он из семьи верующей московской интеллигенции — то, что я отношу к цвету нашего народа. Той славяно-тюрко-угрофинно- и т.д. смеси, которая и есть русский народ. Батюшка как-то обмолвился, что на церковно-славянском он заговорил в раннем детстве, одновременно с русским.

Два года я ходил на его лекции — это можно назвать катехизацией, хотя не помню, чтобы такое слово звучало. Меня оторопь брала от его необъятных познаний. Он младше меня на 15 лет. Еще два-три года, и он бы мог быть моим сыном. А я смотрел на него, как мальчик Вася Бородин на дядю Степу.

У меня — восторженный озноб, когда ночью на Пасхальной службе, при чтении начала Евангелия от Иоанна, о Георгий своим звенящим от внутреннего торжества голосом взял на себя латынь,

древнегреческий, церковнославянский, итальянский и, кажется, французский...

Членкор, автор нескольких замечательных книг и несчетного количества статей, переводчик. И — ни

Наклонил мне голову, вполголоса — слова принятия исповеди. А потом как-то с амвона сказал, что иногда к нему подходят на исповедь, а он сам как бы исповедуется. Видно не со мной одним такое случилось...

НЕУТЕШНОЕ ГОРЕ... ИЛИ СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ?

Природа-мать!

Когда б таких людей

Ты иногда не посылала миру,

Зачахла б нива жизни...

А. Н. Некрасов

малейшего намека на важность, напыщенную солидность. Напротив — некое озорное мальчишество, которое нет-нет, проскальзывало в его улыбке, в каком-то словце, в походе. Но кто бы видел глаза о. Георгия, когда он исповедовал мам детей, пациентов Больницы или разговаривал с ними...

Еще помню, давно было, подошел к нему на исповедь, срочно надо было разгрести кучу жуткой дряни. А он весь какой-то как больной. И глаза большие.

— Батюшка, что с тобой?

— Костя, утром встречался с главврачом. Он на меня кричал. Он на меня топал ногами, как слон. Он говорил, мы позорим больницу своими крохоборными подачками, как будто больница нищая. Это он о наших, ваших пожертвованиях. Ты понимаешь, он на меня топал ногами как слон! А мы на эти деньги купили уникальное оборудование.

Про слона батюшка упомянул еще раз два. И у него были раненные круглые глаза. А слушал его, моего родного человека, — у меня ярость в горле. Мне бы того главного врача детской республиканской! Уж я бы ему все внятно втолковал на хорошем портовом или автозаводском языке, который я тогда еще — помнил. А ведь о. Георгий просто не может на нем говорить и, тем более слышать, терпеть.

— Батюшка, родной, да (послал бы ты этого...) ты успокойся. Ну что ты (из-за всякого ублюдка) волнуешься. Пожалей ты его (скотину трижды разэтакую), он несчастный человек. Береги себя...

Отец успокоился немного:

— Спасибо Костя.

Порою на проповедях отца заносило, особенно если он затрагивал политику. Его горячность, его бурная итальянская жестикуляция, его срывающийся на крик голос в ком другом были бы смешны. Но у о. Георгия всё настолько глубоко искренне, он настолько лично переживал всё происходящее в стране, что даже его неточные оценки, суждения не вызывали протеста...

Одна прихожанка, моя сверстница, как-то спросила:

— Костя, помнишь, в наши студенческие годы все центральные газеты писали о вундеркинде, который в 14 лет поступил в МГУ?

— Да, конечно же помню.

— Это был наш о. Георгий...

Я все гадал: так какое все-таки у него образование — историческое или филологическое? Оказалось — филфак МГУ историческое отделение...

Про него говорили, что он свечка, горящая с двух концов. И посередине, всегда добавлял я. Лекции в Физтехе — факультатив по истории религии, регулярные выступления по радио «София», работа в Библиотеке Иностранной литературы, постоянные публикации в «Русской мысли» и «Истине и жизни», несколько книг, переводческая деятельность, служба в нашем храме. Этого хватило бы на долгую жизнь нескольких трудооголиков. О работе в РДКБ я уже упоминал. Когда мое поприще там закончилось, я по инерции походил туда еще, но определенного занятия не нашлось, и я перестал. Невыносимо видеть столько горя, ничего не делая. Конечно, у о. Георгия там дел в избытке. Но от груза человеческого, детского страдания

дела не спасали. Скольких малят он там отпел! Боюсь, не на много меньше, чем крестил...

Отец Георгий и по жизни был человек не так уж крепкий здоровьем. А та история с попыткой передачи Больницы из Минздрава в какое-то НИИ — тогда долой лечение, все силы на выпечку кандидатов и докторов, — его свалила. Он с делегацией мамок дошел до какого-то крупного чиновника, и Больницу отстояли, но батюшка сам надолго слег в больницу. Здоровье его поехало, вскоре он огруз, стал ходить, по-старчески шаркая, стремительно стареть. Было больно на него смотреть, и как-то я спросил его: правда, что у тебя лейкоз (я слышал о нем это страшное слово). — Нет, у меня сгущение крови.

Ничуть не лучше. Если вязкость жидкости в магистрали больше расчетной, то для сохранения расхода необходимо повышать давление. От этого, случается, трубопроводы лопаются или засоряются, и насос работает на износ. Применительно к человеку — кровеносные сосуды и сердце.

Последние месяцы батюшки — у меня душа изныла, я измолился весь. Вот он идет, едва передвигая

ноги, я подойду, тихонечко поглажу его рукав — батюшка, я тебя люблю. — Я знаю, Костя.

А, узнав о его самом последнем заболевании, вдруг понял: он умрет. Но как бы ни было не неожиданным сообщение о смерти отца, оно меня пришибло. Мое радио говорило: он неизлечим, в храм не вернется. Душа — бунтовала, не желала мириться. Я молил Господа о чуде, но чудо надо заслужить...

...Так что теперь, родные мои, будем плакать и рыдать? А Господь и наше вероучение учат всегда радоваться и за всё благодарить. Смерть любимого человека, любимого священника, друга — всегда горе и потеря, — говорит наше мирское. Но у Господа все живы, — возражает наша христианская вера.

Так давайте попробуем все-таки превозмочь боль и скорбь, попытаться найти радость. У батюшки при его опухоли головного мозга, неоперабельной от метастазов, не могло не быть жутких головных болей — или с ума сойти, или пускать слюни в наркотическом растительном забытии. Теперь у него нет такого жуткого выбора. То, что на Руси всегда говорилось — отмутился.

Мы потеряли учителя, исповедника, друга на земле. Но у нас появился могучий молитвенник на Небе. Приобретение не какое-то там «виртуальное», а самое что ни есть реальное и действенное. Это ли не причина радоваться? Пусть сквозь слезы горя. Это ли не причина благодарить? Пусть, скорбя.

...А вечером 23-го после службы мне пришлось быть жилеткой для одного очень славного молодого человека, который тоже дружил с о. Георгием, мальчишкой тоже ходил на его лекции. У него же отец крестил своих детей. И горе Вячеслава было жилеткой для меня...

24-го в начале литургии мне показали сына о. Георгия. Я подошел. Впрочем, и сказать ничего не получилось. А у него, у Петра Георгиевича, голос и интонации отцовские...

Это всё, что я могу сказать прямо сейчас. Извините, за несобранность и сумбур, возможные неточности. Через полгода бы, может быть, получилось что-нибудь более внятное.

Мир праху твоему, любимый друг и отец...

Константин СЕМЕНОВ

РАДОСТЬ МАЛОГО СТАДА

ПАМЯТИ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА

...Терпеть не могу недоумений. Бог дает нам знать Свою волю через видимые события мира сего. (Отсюда и «Лицемеры! ... Отчего и по себе не судите, чему должно быть!»). ...Когда сестричка Валентина — восторженный седой ангеленок — после отпевания о. Георгия схватила меня за грудки: «Георгий! ты должен о нем написать!» — я растерялся. Такие, как Валечка, говорят не от себя. Но почему я? Мы же с о. Георгием за много лет двух слов друг другу не сказали. И — вспомнил.

Когда вышла статья «Утро отсчёта»¹, связавшая гибель Предтечи и о. Александра, Церковь тогдашнюю и нынешнюю, судьбу Израиля тогда и России сегодня, в наступившей, так

сказать, тишине мне очень важно было узнать взгляд самого свободного и образованного из доступных. Я решил остановиться о. Георгия на выходе из храма и предложил листок из газеты. Он замер и, как будто вмиг переменив пространство, глядя вдаль, сказал: «Я читал», — «И?» — «Должен же кто-то назвать вещи своими именами». ...Называть вещи своими именами... Отче Георгие! Благословите.

...После 19 августа 1991 года это была самая высокая ночь в моей жизни. К четырем утра я погасил все лампочки в храме и зажег все лампы. Рассвет выделенно прибавлял яркость на нимбах иконостаса, не освещивая изображений целиком. Евангелие спокойно, по домашнему звучало над гробом на

разных языках, *изгоняя время вон*. Как и тогда, 2000 лет назад, первые у гроба сестры. Всего человек 15, вместе с двумя братьями и сыном Петром. Никто не обнажает ни особой дружбы, ни кровного родства. *Небо на земле* и неотразимый образ «малого стада».

...Как же потом, после Евангельской этой ночи, и пресно и *странно* звучало на отпевании бесчисленное «Во блаженном успении вечный покой...». Что за «православный буддизм»? Что за нирвана? О каком «вечном покое» речь? О том, который здесь и сейчас у Николая Мирликийского? Или о том, который здесь и сейчас у Матроны Московской? И *покой* для кого?

...Воспоминания об о. Георгии, будучи написанные в ответ на многократные призывы, меня заранеестораживают: боюсь, что реальный человеческий блеск о. Георгия будет в них превалировать. Боюсь, ибо «... что высоко у людей...». Даже о полноте веры блеск работников церковных не свидетельствует. ...Поэтому всё дальнейшее — о другом.

¹ Приходская газета №37, 2003 г.

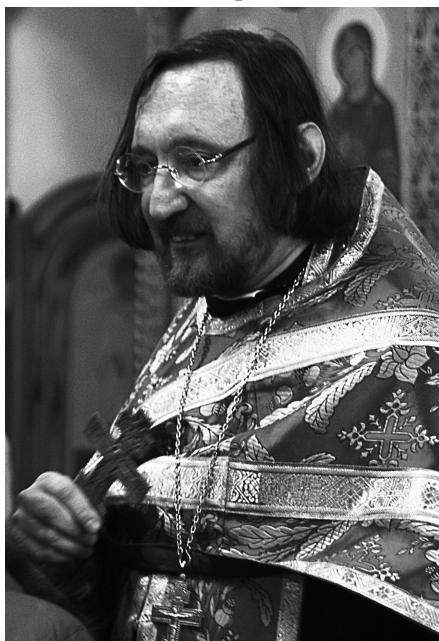


...Как сказано в упомянутой статье, «Евангельский принцип “малого стада” христианизации России (и не России) не предусматривает». В этом легко убедиться, раскрыв любую страницу родной истории с Евангелием в руках. Или, что во всех отношениях лучше, подойти с Евангелием к зеркалу. Увы нам! Наше движение в сторону Христа (еще только движение!) начинается с того момента, когда мы начинаем строить себя более, чем других. Наше вхождение в «малое стадо» (ещё только вхождение!) начнется с того дня, когда реальное — по часам — время жизни, отданное Ему, превзойдет время, взятое себе. И, хотя тайная эта арифметика, относящаяся к о. Георгию, ныне на весах небесных, можно со всей определенностью указать на главное о нём *свидетельство свыше*.

Многие из нас берегут себя так, что даже экранные страдания Христа видеть не хотят. Между тем, я не представляю себе, что могло бы уязвить мою сонную совесть больше, чем видение Его жизни и Его смерти напрямую ради меня. У некоторых западных святых это мысленное видение вызывало такое со-чувствие, что прожигало стигматы на местах Его крестных ран. Однако, при всём восхищении подобной любовью ко Христу, нужно понимать, что здесь легко собрать и себе на голову, если эта любовь не перельется на тех «малых сиих», за кого Он умирал. Соблезнование их страданиям, если речь идёт о больных, может вызывать то, что я называю «соматы» (от греч. «сома» — тело) — реальную телесную болезнь, повторяющую недуг страждущих. Таким соматиком стал старший современник о. Георгия Паисий Афонский — известный всему миру молитвенник о раковых больных, про которых говорил, что «таковыми только рай ныне и полнится». (Аналогичное явление в миру — перенимаемая смертельная болезнь самого близкого на свете человека — имеет с соматами столько же общего, сколько поклонение идолу с поклонением Богу). Очевидным соматиком — у всех на глазах! — сделался и о. Георгий. Соотнося подвиг этих двух, с ужасом думаю — что страшнее? Соблезнование заочное или очное? К тому же, перед очами о. Георгия были *дети* (с их безутешными родителями)... И ещё. Стигматы не смертельны, соматы — смертельны

по определению. На их фоне все духовные свидетельства об о. Георгии имеют не большее значение, чем прохождение шеститысячников по дороге на Джомолунгму или на Дхаулагири. Поэтому сразу перейду к характерному дополнению — «свидетельству снизу».

От бесов страдают все, однако надо различать: 1) родных себе они не меняют, ибо те и сами ведут себя как бесы; 2) подвизающихся стараются хоть тихо, да сбить, а 3) в «малое стадо» допускаются явно, но лишь для свидетельства. Я трижды видел, как в о. Георгия входил бес,



причем, непременно перед службой, и он по ничтожному поводу начинал даже не орать, а реветь *не своим голосом*. И — зри, сатана, славу Божию! — всякий раз бес отступал, битый, а священник смиренно исполнял долг, помню, однажды даже и с радостью, и как-то весело.

А вот — в полноту картины — тоже характерное свидетельство, уже «по горизонтали». Для причащающихся в здравом уме всякие земные награды — смех, а церковные и вовсе сомнительны. Никаких церковных наград священник Георгий Чистяков не получил. И на его отпевании ни одного из 130-ти архиереев РПЦ не было. Нечаянная параллель — недавняя канонизация Вселенским Патриархатом матери Марии (Скобцовой), которую о. Георгий с тех пор поминал на отпущении каждой Литургии. Представители всех вер, всех конфессий слетелись в Париж преклонить колени перед подвигом *наших* новомучеников. Всех... кроме РПЦ. Еще более неожиданная параллель — похороны в Петропавловском соборе страстотерпцев Романовых. За мелким исключением, в храме — только родственники. Никакого церковного начальства. За крепостной стеной — «самые православные» с плакатами «Нет лжемошам!». Отпевает местный протоиерей, и — вершина унижения! — отпевает безымянно! («Имена их, Господи, Ты веши»). Посмотришь, да и не захочешь — уверуешь...

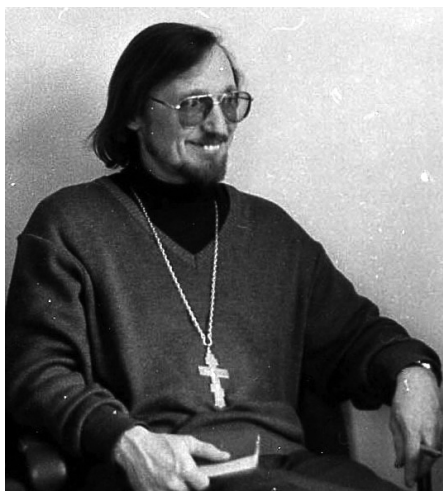
...На третий день после похорон позвонила мне исчезнувшая на 5 лет давняя знакомая. Позвонила, чтобы срочно привести в храм свою сорокалетнюю благополучную подругу. После того, как та услышала — только услышала по радио! — про о. Георгия, ей захотелось немедленно креститься. И пришли. Что тут скажешь, отче? Счет открыт! (Или продолжен?)

...«Радость, радость!» — единственный священник, который произнес эти слова над гробом о. Георгия, 14 лет с ним практически не общался... с тех пор, как своей рукой выдал ему рекомендацию на священство. ...Через каких-то 26 лет «малое стадо» отпразднует свое двухтысячелетие. Церковь не отрицает границы между миром видимым и невидимым. Она *ее игнорирует*.

В заключение — короткий текст, появившийся лет 20 назад — без повода и адреса.

*Светла моя печаль у дружеского гроба:
На том пути, которым шли мы оба,
Нас испытует краткий ход повозы,
И выслужим, и вывезем — авось
Господь опять оглобли душ содвинет.
... А в час, как наша память в мире минет,
Единственно надёжное родство
Полнособорное откроет торжество!*

Георгий КОЛОСОВ



ОСИРОТЕЛОСТЬ И НАДЕЖДА

ПАМЯТИ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА

легкая, без тягучести. Люди это чувствовали и тянулись. Какие очереди выстраивались к нему! Его ждали, порой беззлобно ворча, и тут же улыбались, заведя летящую походку, когда, случилось, запаздывал. Они знали: открыть ему можно всё. Да, осудит, коль поделом, но будет и неподдельное участие друга, а не приговор равнодушного, важного судьи.

Как вдохновенно он служил, соединяя всех со Христом! Горячо проповедовал Евангелие, просто преображался, зажигая людей и преодолевая в Духе собственные недуги. Венчал и отпевал. Иногда взрывался от нашей духовной бестолковости — священник тоже человек. Словом, делал то, что делает каждый пастырь, и делал ярко, осмысленно, прирожденно. Отца Георгия любили. Разве скажешь лучше?

И вот — черта, рубеж. Испытание не только для него, но в какой-то мере для остающихся. Чувство осиротелости охватывает, от него не уйдешь. Приходит и иное чувство, оно вступает с борением с осиротелостью, поскольку может отодвигать границы... В потоке жизни мы не одни, в его сердцевине всегда Христос, Он и есть Жизнь. Он любит чад Своих, Он, Господь, никогда не примирится со смертью любого из нас. Сострада и животворя, встретит

Он верную душу Своего иерея, каждую душу, призванную Его.

Пусть мы знаем гадательно, но верим: спасение во Христе вневременное, в Нем уляжется скорбь, отрется слеза, сбудутся все упования.

А в дни прощания и отпевания в переполненном храме осиротелость снова подступала, облекаясь в вещественное — гроб, море цветов, бледное, спокойное, уже отрешенное лицо о. Георгия, а вокруг него скорбные лица сотен людей, пение хора, сослужение священников.

Отец Георгий стал как бы центром храмового действия, но, в отличие от стольких лет своего иерейства в этих стенах, оправдал такой «центризм» собственной кончиной (каждый когда-нибудь станет невольным «центрисмом»). И одновременно мы знаем: это неокончательно, поскольку недолжно.

Последняя Истина открывается всей жизнью: Христос есть Центр мира как Храма. Если мы с Ним, то живы всегда — вот полнота Радости. Ведь Бог не есть Бог мертвых, но живых. Любая осиротелость отступит с этим чувством, а когда-то исчезнет вовсе.

Спасибо Вам, дорогой Георгий Петрович, за подвижническое служение Господу и нам, необъятной пастве Вашей.

Сергей ЗИК

ОН ДАРИЛ НАМ РАДОСТЬ ЛЮБВИ

Об отце Георгии думают, горюют и вспоминают многие и многие люди. Его друзья, его духовные дети, те, кто связан с ним теснее, чем я, знают и помнят больше, чем я. Но думаю, что и моя история соприкосновения с этим удивительным человеком тоже значительна и интересна.

В храм Космы и Дамиана я хожу с тех дней его существования, когда он помещался в комнате наверху, а увидела отца Георгия на первой службе в Северном приделе. Я тогда ходила в храм одна, муж не был крещен. В ноябре 1993 года отец Георгий стал священником, и, по совпадению, в то же самое время крестился мой Сеня. Он стал ходить со мной в храм и исповедоваться у отца Георгия, он полюбил его.

Спустя три года Сеня серьезно заболел, и я попросила батюшку прийти к

нам домой (мы живем рядом с храмом) причастить его перед уходом в больницу. Отец Георгий сразу после литургии в облачении и со Святыми дарами шел к нам по Столешникову, по Тверской, точнее можно сказать, шествовал. Народ на улице останавливался: такое не часто можно было наблюдать.

После исповеди и причастия батюшка еще долго оставался у нас, о чем-то они с Семеном разговаривали. Провожая отца Георгия, я хотела дать немного денег, но он отказался. Я просила, тогда он сказал: «Хорошо, я отдам больным детям».

Муж мой не вернулся домой. Собирая в больничной тумбочке его вещи, я увидела письмо, написанное отцу Георгию. Это было последнее, что он написал в своей жизни, и я принесла письмо батюшке. Он читал его и с нежностью гладил исписанный нетвер-

дым почерком листок! Затем бережно его сложил и спрятал.

Отец Георгий расспрашивал, как Сеня умер. Его поразил мой рассказ. Картина в самом деле была тяжелейшая, он перенес две ампутации, чуть ли не плавал в крови, боль была адская, страдания ужасные. Последние две недели я жила с ним в больничной палате среди стонов и воплей таких же страдальцев-соседей, вопрошавших: «Господи, за что?!» Поразительно было услышать слова Сени: «Я не за этим пришел в больницу, я думал жить. Но я это заслужил. Я не был на фронте (его не призвали в армию из-за плохого зрения), я не был раненым, мне не ампутировали ноги. Это мои сверстники истекали кровью и умирали за меня. Я отдаю свой долг». За несколько часов до смерти дочь привезла к нему священника, отца Николая Ведерникова, он исповедал его и причастил. Сеня умер в полном сознании, не произнес ни слова, ни жалобы.

Отец Георгий не мог слушать меня



без слез. И тут я не удержалась и говорю: «А ведь в вечной жизни я не соединюсь с ним — по моим грехам я не попаду в то светлое место, какого удостоился он». Батюшка мог сказать, что я должна стараться, бороться со своими грехами и тому подобное, но он так не говорил, а, возможно, понимал, что это вряд ли получится. Но не мог отец Георгий оставить меня без утешения, и он сказал: «Ради него — попадете».

Я потом сильно болела, не могла долго находиться в храме, но батюшка сказал: «Приходите, когда хотите, все равно причащу». И стоило ему заметить меня среди очереди к исповеди, всегда через головы людей звал: «Ольга Сергеевна!» Его любовь, его участие были мне такой поддержкой в то тяжелое время. И потом, и все эти годы, он, как только увидит меня, всегда скажет одно лишь слово: «Ольга Сергеевна!» Но как он его говорил! Бывает, что назовут по имени и даже Олечкой, а в голосе отчуждение, а тут всего-то имя-отчество и становилось легче жить. Понятно, что я одна из многих, но в данном случае это не имеет значения.

Отец Георгий был человеком страсти, «высокой страсти», по выражению Пушкина. В Древнем Риме он был бы трибуном, в загубленной большевизмом России он стал сеятелем Слова Божия и преемником Апостола любви. Он не отмерял свою любовь золотниками, он был переполнен ею.

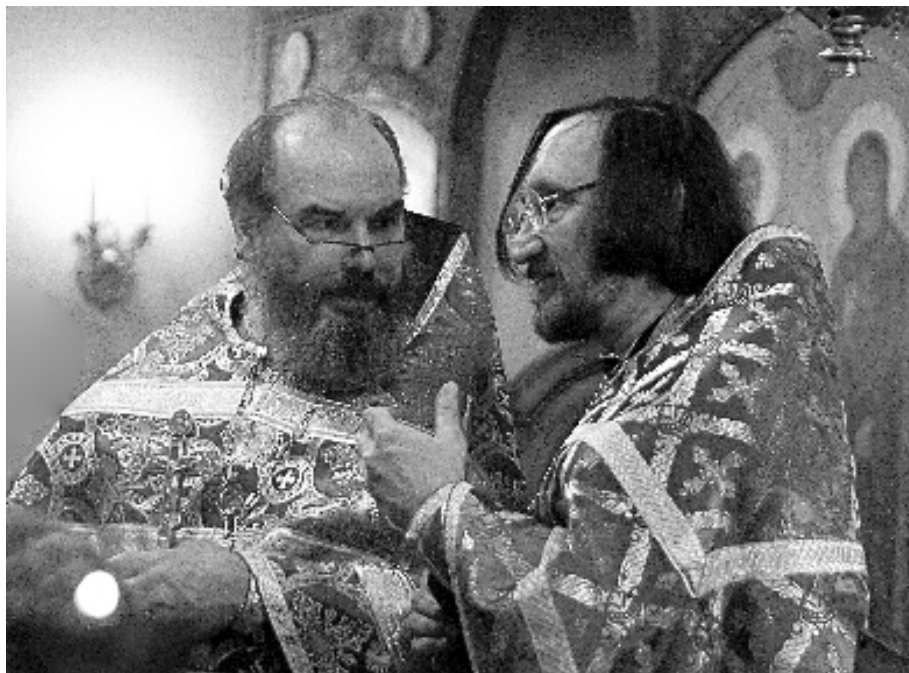
Когда вышла моя книжечка «Блаженны милостивые», посвященная моей матери, я подарила ее отцу Георгию. Я знала, что она не оставит его равнодушным и потому, что милосердие — заветная тема его жизни, и потому, что его любовь к отцу сродни моей горячей привязанности к матери. Вскоре он подошел ко мне и прижался щекой к моей щеке. Это физическое ощущение глубокой душевной связи останется со мной навсегда.

Открытый и щедрый, отец Георгий умел дарить людям радость, этот драгоценный подарок Христа. В нашей жизни с ее всевозможными дефицитами радость оказалась самым главным дефицитом. Не знаю, что это за такая природа человеческая: огорчить, обидеть — это запросто, походя, даже и не заметят, а вот дать немного радости как-то не получается. Почему такая скупость? Или это боязнь?

Вообще-то, действительно страшно: чтобы обидеть, достаточно отделить себя от другого — это просто, другое дело порадовать — для этого нужно к человеку приблизиться. Митрополит Антоний Сурожский говорил, что встреча с Богом — риск, приблизиться к Богу страшно, «как войти в пещеру к тигру». Должно быть, приблизиться к человеку тоже страшно. Слова Христа

«Что вы так боязливы, маловеры?» касаются веры в Бога, но я думаю, что относятся и к человеку — ведь Господь сказал, что после первой заповеди о любви к Богу идет вторая, подобная ей, — о любви к ближнему. Значит в человека тоже нужно верить и тоже рисковать.

Когда я прочла у Блока «Май жестокий с белыми ночами!/Вечный стук в ворота: выходи!/Голубая дымка за плечами,/Неизвестность, гибель впереди!», меня поразило слово «гибель». В самом деле, откроешь ворота — и можешь погибнуть. Вечный риск любви. И все-таки лучше обманываться, хоть это и ужасно, чем быть недоверчивым. Отец



Георгий ничего не боялся, он стоял близко к каждому из нас и дарил нам радость любви. Он призывал нас к победе над страхом и вверял себя нам, чтобы мы доверились Пославшему его.

Однажды отец Георгий рассказал мне о своей матери, о том, с каким достоинством она держалась. «И в ситцевом платье она была гранд-дамой и вызывала уважение», — сказал он. Я подумала, что благородство ее натуры, о котором он говорил, — врожденная черта и его самого, и потому оно так естественно слилось в нем с христианством. Он постоянно призывал уважать любого человека, особенно того, кто зависит от нашей помощи. Мы знаем, что накормить голодного, одеть нагого, посетить больного — значит сделать это самому Христу. Отец Георгий считал столь же важным уважение к личности нищего, бездомного, униженного. За десятилетия безбожного режима с его угнетением, подавлением, изничтожением человеческого достоинства люди разучились уважать самих себя и друг

друга. «Кормите, подавайте милостыню, но не забывайте, что перед вами образ Божий, уважайте его», — говорил отец Георгий. Помню один случай. У дверей нашего храма стояла очередь голодных, ожидавших обеда. Мне нужно было зайти, но обе руки были заняты книгами, и я обратилась к убогому, понурому бомжу с обыкновеннейшими словами: «Не откроете ли дверь?» Как же он прося, с каким изяществом распахнул передо мною двери — наверное, так он пропускал вперед даму когда-то. За годы унижений он просто забыл о своем мужском статусе, и как мало оказалось нужно, чтобы вернуть человеку драгоценное ощущение достоинства. Накор-

мить — это, конечно, в первую очередь, но не «хлебом единым», а и к великодушью — этой милости к падшим — отец Георгий неустанно призывал.

Когда у меня резко ухудшилось зрение, я пришла к отцу Георгию: «Что же делать? Как же я буду писать? И Сени со мной нет, а мой духовный отец тяжело болен. Кто же меня пожалеет?» И он пожалел — обнял тихо и жалостливо и прошептал: «Держитесь!» Сам он держался поразительно. Я живу рядом с храмом и часто встречала его на улице — всегда спешит, улыбнется на ходу и всегда ласкательное «Ольга Сергеевна!» Но вот этой зимой он остановился вдруг и сказал: «Совсем нет сил... Такая слабость...», — виновато улыбнулся и двинулся дальше. А я застыла на месте, внезапно сообразив, что жалеть нужно не себя, а его.

Жалеть других и держаться самому — это отец Георгий завещал нам всем.

Ольга РИВКИНА



ПАМЯТИ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ

БЕССТРАШНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

На 54-м году земной жизни закончилось пастырское и научное служение священника Георгия Чистякова — одного из самых ярких клириков Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), духовного лидера либеральной церковной интеллигенции Москвы. В день отпевания о. Георгия к небольшому храму святых Космы и Дамиана, где он служил 15 лет, невозможно было подойти.

Отец Георгий был чистым и глубоко верующим человеком

«В городе солнечных старушек» — так он назвал свои воспоминания о детстве и юности в шестидесятилетней Москве. «Солнечное» мироощущение этого необычного батюшки сложилось именно тогда, когда обескровленный сталинизмом и войной советский народ впервые ощутил легкий ветерок свободы. Оттуда, из детства, вынес о. Георгий неприятие любой радикальной идеологии и войны (за что его называли либералом и пацифистом), любовь к европейской культуре (за что его называли западником и тайным католиком), отвержение лжи, в том числе в политике (за это его считали диссидентом и угрожали разными церковными «прещениями»).

«Это была Москва старушек, но не старичков, — вспоминал о. Георгий о городе детства. — Я не подозревал, что бывают старые люди мужского пола, потому что одни погибли в революцию, другие — в 20-е, третьи — в 30-е годы, четвертые ушли в 1941 году в ополчение и погибли буквально в первые дни войны. Их невесты остались старыми девами, их жены рано овдовели. Это

был мир старых дам, научивших меня читать по-русски и по-старославянски, молиться Богу и ходить в церковь, любить Шопена и Шуберта, русскую поэзию и прозу... Сегодня мы можем научиться знать, владеть материалом, может быть, значительно лучше, чем владели им старые дамы моего детства, но научиться любить литературу, музыку и даже Бога сегодня зачастую бывает не у кого».

Впрочем, были у священника Георгия Чистякова учителя и наставники из среды наших современников. Среди них на первом месте о. Александр Мень — оппоненты даже называют о. Георгия меневцем. Близко знавшая обоих священников Екатерина Гениева, директор Библиотеки иностранной литературы, считает, что их «многое объединяло — прежде всего невероятная открытость миру, людям, вере». «Зияние, которое после ухода отца Александра, — продолжает она, — отчасти восполнял отец Георгий, сам абсолютно одинокий в этом мире, это зияние станет теперь еще более ощутимым». Двух других своих учителей

тоже пережил о. Георгий — митрополита Сурожского Антония (Блума) и Папу Иоанна Павла II, с которым ему довелось неоднократно встречаться. У владыки Антония о. Георгий перенял необычную манеру исповедовать — нередко он плакал навзрыд вместе с какой-нибудь кающейся, а потом почти умоляюще говорил: «Ну зачем вам это? Это ведь разрушает личность!»

Переводчик Наталья Трауберг, коллега о. Георгия по Российскому библейскому обществу, вспоминает, как настойчиво он хотел стать священником в начале 90-х: «У нас была такая своеобразная игра: мы сами назначали какой-то срок — если к нему не произойдет то, чего мы очень хотим, то уже и не надо пытаться. Его отговаривали от рукоположения, потом мы назначили срок — до 3 ноября. Он побежал в Чистый переулок (резиденция патриарха), где ему опять отказали! Он ко мне — я тогда неподалеку жила: «Ну давайте еще два месяца!» — просит. И ровно спустя месяц, то есть посередине нашего нового срока, пришло решение рукоположить».

ПРАВДА, КОТОРАЯ СТОИТ ЖИЗНИ

Не случайно в Чистом переулке тянули с решением о рукоположении. Было ясно, что ординарного священника-требоисполнителя, который будет исправно платить епархиальные взносы и не станет «будировать народ», из о. Георгия не получится. Он верил «не понарошку», а это значит, что вера его подразумевала предельную честность во всем, в том числе в гражданской позиции. Имя священника Чистякова

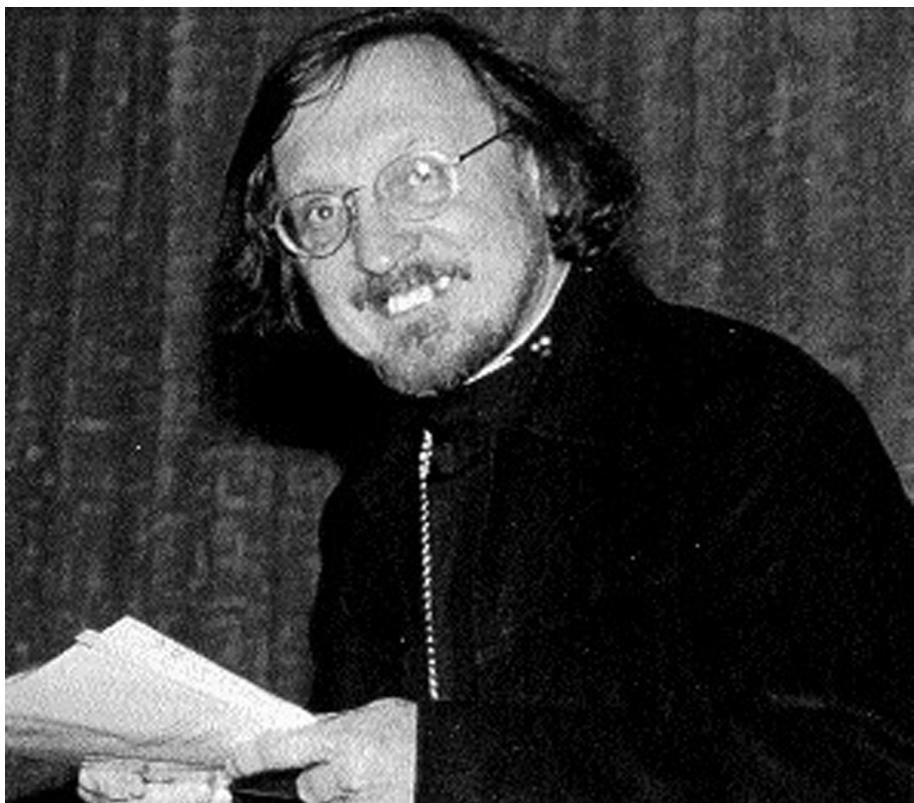
появлялось под многочисленными обращениями против войны в Чечне, он служил панихиду по Галине Старовой-товой и отпевал Анну Политковскую.

Отец Георгий прямо обличал безнравственность в политике. «Наше государство, — писал он, — в течение семидесяти с лишним лет безнаказанно убивало людей тысячами и миллионами. Мы уже считаем, будто в насильственном лишении жизни нет ничего



ужасного. Поэтому жестокость в быту, в отношениях друг с другом, в семье и т.д. После таких войн, как афганская и чеченская, ничего другого, кроме того равнодушия, с которым люди сегодня убивают друг друга, ожидать нельзя». Священник искренне не понимал пафоса «державного православия» с его «священными войнами», «жертвами за родину», призывами «бей врагов отечества». Он был абсолютным христианским пацифистом и отвергал насилие во имя любых «святых» целей: «Убивать действительно нельзя, никого и никому, что убийство — это даже не преступление, а просто ужас».

Свобода и правда, свободный доступ к неискаженной информации были для о. Георгия священны. «Свобода — политическая, национальная, религиозная, — писал он, — представляет абсолютную ценность. Происходящее в России — трагично. Но одни призывают не отчаиваться, а другие зовут назад, в бред советской эпохи. Первые настроены на работу — трудную, долгую, утомительную. Вторые выискивают врагов и призывают их истреблять». Отпевая Анну Политковскую, о. Георгий говорил «о новом, выходящем за пределы церковной огады, особом типе мученичества, которое можно назвать общественным мученичеством, общественным свидетельством. Потому что мученик — это в первую очередь



свидетель, который свидетельствует о справедливости, трудится абсолютно бесстрашно именно ради справедливости. Таким бесстрашным свидетелем был Андрей Дмитриевич Сахаров... Среди нас так мало людей, которые говорят только правду. Аня была такой, за это ее и убили».

22 июня, в самый долгий день года, с ним случился инфаркт, который и привел к смерти. В этом его духовные чада, которых о. Георгий учил, вслед за апостолом Павлом, «всегда радоваться и за все благодарить», тоже увидели добрый знак: в самый долгий день года их пастырь ушел в «невечернее» царство Христа, где уже никогда не наступит ночь.

ЖЕРТВА НЕПОРОЧНАЯ

Основу обширной эрудиции доктора филологических наук священника Георгия Чистякова, которая так привлекала к нему интеллигенцию и прессу, составило классическое образование, полученное на филфаке МГУ. Любовь к древним языкам появилась у Георгия в раннем детстве — он рассказывал, что заговорил по-церковнославянски и по-русски одновременно. А еще он был тем самым вундеркиндом, о котором взахлеб писали советские газеты в 1967-м, — ведь в университет будущий священник поступил в 14 лет.

Нагрузка, которую взвалил на себя о. Георгий в последние годы, была необыкновенной, превосходящей естественные человеческие силы. Он одновременно преподавал в нескольких вузах, кое-где даже заведывая кафедрой (МГУ, РГГУ, Физтех, Университет им. А. Меня), служил в двух храмах, причем один из них был при Российской детской клинической

больнице, заведовал комитетом Библейского общества, руководил центром по изучению религиозной литературы в «Иностранке».

Духовные чада о. Георгия знали, что уже много лет он страдает гематологическим заболеванием, проходя изнурительные курсы терапии. Видели в этом даже некий знак свыше — батюшка приобщился к страданиям своих маленьких пасомых из Российской детской клинической больницы не только духовно, но и физически. В марте, в самый разгар Великого поста, о. Георгий частично парализовало. Тогда и выяснился его летальный диагноз — злокачественная опухоль головного мозга. Он стал угасать на глазах, с какого-то момента даже стеснялся принимать людей в больничной палате. За несколько дней до смерти его выписали, он успел сделать несколько телефонных звонков, обещая своим коллегам вернуться на какое-то время к активной работе. Однако вечером

Отец Георгий погребен на Пятницком кладбище. Далеко не на самом престижном в Москве. На его отпевании в родном храме святых Космы и Дамиана не было ни одного иерарха РПЦ МП, зато был католический митрополит Тадеуш Кондрусевич, священник православной церкви в Америке Христофор Хилл, да и вообще много христиан разных конфессий и даже нехристиан. Выросший в условиях госатеизма, о. Георгий ощущал, что конфессиональные перегородки «до неба не доходят», и очень ценил общность веры в Бога даже с теми, кто представляет себе Бога совсем не по-православному. И его любили «поверх барьеров» люди, которые верят по-разному. Не любили его только те, кто считает, что все обязаны верить одинаково. Но если вера еще может быть «обязанностью», то любовь — никогда!

Александр СОЛДАТОВ
«ОГОНЕК», № 26, 2007 г.

СЛУГА БОЖИЙ

ПАМЯТИ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА

В храме Космы и Дамиана в Шубине служил священник Георгий Чистяков. Исповедовал, крестил, готовил к крещению, отпевал и соборовал — все как положено. Набирал из прихожан волонтеров для работы по выходным в Республиканской детской больнице, а позже основал там храм Покрова Богородицы и стал его настоятелем. Давал свет и утешение больным детям и их родителям, учил их молитве и стойкости, успокаивал и воодушевлял безнадёжных перед уходом. А 22 июня ушел сам — тихо, как будто его и не было.

Доктор филологии, историк, специалист по античности и классической литературе, ученик Михаила Гаспарова, в конце 80-х был одним из активных участников Библийского общества, основанного Сергеем Аверинцевым. Рукоположен в начале 90-х, в 1993 году стал священником в храме Космы и Дамиана. То есть взрослый человек, университетский гуманитарий от изучения слова перешел к изучению Слова. Наряду с другим космодамианским священником, о. Александром Борисовым, считался преемником дела о. Александра Меня — все так, но если Борисов теоретик экуменизма и толерантности, то отец Георгий был в этом деле практиком. Должен же кто-то в православии олицетворять то единое, что до сих пор связывает расколовшиеся и реформированные церкви, — вот Чистяков и был таким олицетворением. Из Чистого переулка на него за это шикали, однако, не будь в церковной лавке храма в Столешниковом католических экуменических журналов и не появившись созданный о. Георгием отдел религиозной литературы в Библиотеке иностранной литературы, не было бы нынешнего — долгожданного — потепления в отношениях Москвы и Ватикана.

В «Русской мысли» — Чистяков входил в редакционный совет издания — он вдруг написал эссе о московских старушках. Помню, как меня удивила фраза «ханжами не были — если Бога не чувствовали, то и не напускали на себя лишней, притворной религиозности». Поразительно: священник терпим к религиозной бесчувственности вместо того, чтобы призывать к избавлению от нее. Позже, уже послушав его проповеди, понял: при всех своих ученых симпатиях к латинскому духовному наследию Чистяков как священник был и остается лицом Восточной церкви,



отказавшейся от победительно шествующего мессианства и западного прозелитизма.

В православии считается нормальным и даже должным, чтобы батюшка держал дистанцию между собой и мирянином. Отец Георгий, кажется, никогда этого не умел и не желал этому учиться: даже на исповеди он скорее улыбнется или обнимет тебя, чем приготовится давать надменные наставления о должной жизни. Однажды я своими глазами видел, как раскрасневшийся от крика крещаемый младенец после нескольких обращенных к нему ласковых слов священника заулыбался и примирительно схватил батюшку за нос. Чистяков учил прихожан не бояться своих дел и избавлял их от комплексов: до сих пор помню его слова о том, что «не все то грешно, что грешным нам кажется».

И вообще был, если так можно выразиться, практиком бытовой герменевтики — всегда смотрел на вещи и судил о них с того же ракурса, что собеседник (или исповедуемый), так что человек с легкостью сам находил вариант разрешения своей проблемы. Многие маленькие пациенты Республиканской детской больницы и их родители цитировали в прощании слова о. Георгия о том, что в болезни — как на войне, в чем застала, в том и воюешь. А теперь собранное им в РДКБ войско потеряло своего тихого капеллана.

Мне он с самого начала казался человеком не от мира сего — в самом лучшем смысле этого слова, какой только может быть в случае со слугой Божиим. Когда он, сутулый и остроносый, проходил по храму, даже свечи у икон, мнилось, светили тусклее. И если через какое-то время вдруг выяснится, что его мощи нетленны, я несколько не удивлюсь.

Алексей ВОЛОДИН

Русская жизнь, №5, 6 июля 2007 г.

ФИЛОСОФ, КУЛЬТУРОЛОГ ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ:

«В ЛИЦЕ ОТЦА ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА СМЕРТЬ ЗАБРАЛА ОДНОГО ИЗ ОЧЕНЬ НЕМНОГИХ ДУХОВНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПУСТЫМ»

— Григорий Соломонович, Вы высоко ценили новопреставленного священника Георгия Чистякова. Что Вас привлекало в этом незаурядном человеке?

— Григорий Померанц: Я скажу, как я воспринимаю фигуру отца Георгия в целом, потому что наши встречи были мимоходные, случайные, а очень многое происходило при обмене книгами. Я очень высокого мнения о скромном по величине, но очень глубоком книжном наследии отца Георгия, а он внимательно читал то, что пишу я. Я в этом убедился, когда он говорил кое-что при вручении мне премии им. Карамзина. Я чувствовал, что он очень хорошо знает то, что я писал, а я внимательно читал и кое-что перечитывал из того, что писал о. Георгий. Это важнее, чем случайные обмены репликами, которые, тем не менее, тоже интересны.

На «Эхе Москвы» об отце Георгии сказали как о священнике-мыслителе. Это правда, но не вся. Фома Аквинский и Томас Мертон были мыслителями. Но они мыслили по-разному. В мышлении Мертона «глубокое сердце», как говорили в старину, играло гораздо большую роль, чем цитаты. Мне кажется, что отец Георгий был мыслителем именно такого типа. Недаром его называли харизматиком. Он обычно говорил с вдохновением, и мысль рождалась прямо в потоке речи.

Чрезвычайно интересны его отношения к Византии. Он хорошо понимал, что византийцы прибавили к вере ранних христиан кое-что, что, скорее, искажало эту веру. Вместе с тем, он понимал и то, что Византия оставила нам совершенно прекрасную икону, которая следовала постановлениям VII Вселенского Собора, давала только



одну степень свободы — в глубину, но это как раз то, чего нам все более и более не хватает. И в этом смысле школа иконы, умение посидеть час-полтора перед иконой, то, что она тебе начинает рассказывать, — замечательный противовес тому вытягиванию на поверхность, которое всё время совершает с нами будничная жизнь.

От этой харизматичности о. Георгия, от мышления непосредственным чувством того, что он говорит, а не просто того, что сказано в книжке, — его чрезвычайно широкая терпимость. Я помню разговор, в котором участвовало несколько человек — там были и другие священники, но запомнил я о. Георгия, я бросил реплику: «Ну, что ужасного было в несторианстве?!» На что о. Георгий ответил: «А что ужасного было в монофизитстве?» В этой

реплике была вся его терпимость к тому, что исторически было признано ересью, вызвало расколы. Он понимал христианство как любовь ко Христу и стремление приблизиться к нему, в то же время сохраняя за отдельным человеком свободу понимать основные символы по-своему.

Одна из его прихожанок, которая ходила и на наши лекции, спросила его, как он относится к нам. Он ответил, что мы идем своим путем, но туда куда надо. Его терпимость была чрезвычайно широка. Глубоко принадлежа к избранному им пути, он сердцем понимал то, что близко к самому духу христианства, не сверяясь в той или иной ситуации с правилами, даже активно выступая против наметившихся в VIII веке тенденций отнести грех распятия Христа только на людей, непосредственно участвовавших в распятии, тогда как в грехе распятия участвуют все люди во все века.

Я глубоко сожалею, что не смог пробиться в церковь через плотную толпу людей к гробу отца Георгия — у меня сил не хватило (Г.С. Померанцу 89 лет — Ред.), но все последние дни я в глубокой скорби думаю, что в лице отца Георгия Чистякова смерть забрала одного из очень немногих духовных мыслителей, которые остались в нашей стране, и духовное пространство становится от этого все более пустым. Он ушел слишком рано для мыслителя. Те годы, в которые судьба забрала его от нас, — для мыслителя только начало пути. Перед ним открывалась еще большая дорога и по немногим книгам, которые он успел издать, мы должны угадывать то прекрасное, что он мог бы сделать.

Беседовал Владимир ОЙВИН
«Портал—Credo.Ru»

— **Отец Георгий, однажды Вы сказали, что не можете оставить преподавательскую работу. Не можете бросить своих студентов и аспирантов. Почему это так важно для Вас?**

— За младшим поколением всегда будущее. Мне кажется, важно не только общаться с младшим поколением, как общается священник со своими прихожанами и друзьями, но общаться с ним в работе изо дня в день. Именно таким образом мы готовим себе смену. Так складывается в Церкви то, что в широком, в философском смысле мы называем апостольской преемственностью. Всё живое в Церкви передается именно так: из рук в руки, от человека к человеку. И поэтому работать как можно больше с младшим поколением просто необходимо.

— **У Вас легко устанавливается контакт с младшим поколением?**

— Я пришел в Университет в качестве преподавателя, когда мне было двадцать два с небольшим года. С тех пор у меня всегда были студенты, аспиранты, и, по-моему, проблем с контактом у меня никогда не было.

— **А как Вам кажется, Вы понимаете молодежь?**

— Конечно, не понимаю! Я очень многое не понимаю, и они наверняка это знают, мои младшие друзья. Но в чём-то, думаю, всё-таки понимаю.

— **А есть ли у молодежи какие-то особые пути к Богу по сравнению с другими поколениями?**

— Я думаю, что дело не в особых путях, когда мы говорим о молодежи, а дело в особом языке. Каждое следующее поколение всегда говорит на новом языке. И если возникает проблема отцов и детей, то она возникает не потому, что мы смотрим по-разному на вещи. Я убежден, что вся проблема возникает из-за того, что мы говорим об одном и том же, но в разных словах. А мысль, чаще всего, одна и та же. Взаимоотношения между поколениями — это проблема нахождения слов, проблема поиска общего языка. А общий язык, как правило, находится, когда мы начинаем что-то делать вместе. Так, например, я очень люблю и в журналистике работать вместе с молодыми авторами. Приносит студент или студентка статью. В ней есть много интересного, но многое написано не так. Тогда садишься вместе за стол часа на три и начинаешь работать. Переставлять местами фрагменты текста, сокращать, дописывать, заменять слова. При этом знаешь, что ты не должен внести в текст ничего



LIVEJOURNAL *beta*

sergeyhudiev
2007-06-23

Я не буду писать об о.Георгии много — но кое-что скажу. Когда я только-только входил в Церковь, я увидел в о.Георгии присутствие Христа в христианине — присутствие настолько неоспоримое, что достаточно было видеть и слышать о.Георгия, чтобы утратить всякие сомнения и в реальности Спасителя, и в реальности Его присутствия среди Его верных. Я помню, как мы сидели за одним столом, и я понял, на что будет похоже Царство, когда бы будем сидеть за столом нашего Господа.

О. Георгий сейчас с Господом Иисусом, и с Пречистой Его Матерью, и со святыми, и с теми детьми, которых он напутствовал, когда служил в детской больнице.

Первые христиане не боялись смерти, потому что помнили Иисуса, который ждал их на той стороне; мы не застали Господа во время Его земного служения; зато застали одного из Его святых. Он ждет на той стороне, вместе его и нашим Спасителем; мы понимаем, что нам нечего бояться.

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

МЫ ДОЛЖНЫ ДРУЖИТЬ

ИНТЕРВЬЮ С ОТЦОМ ГЕОРГИЕМ ЧИСТЯКОВЫМ

своего, но только помочь этому молодому человеку вытащить на поверхность то, что в его статье уже есть, но для читателя не вполне ясно. Такая совместная работа всегда и сближает и удивительно помогает увидеть главное, многое понять. Помню, как много лет тому назад один из моих старших коллег именно так работал со мною над моей первой статьёй. Это было четверть века тому назад, а помню всё до мелочей. И благодарен ему невероятно.

— *Сюда же, наверное, можно отнести и взаимоотношения людей верующих и неверующих. Нахождение общего языка.*

— Да, проблемы, возникающие между верующими и неверующими, — это, опять-таки, проблемы языка. Прежде всего, это связано с непониманием того, что значит слово «Бог». Думаю, что в большинстве своём неверующие люди просто не понимают самого слова «Бог». Не понимают каких-то вещей не на уровне сердца, а на уровне своего сознания, поскольку, если мы задумаемся над внутренним миром этого человека, то мы увидим, что там есть место для Бога и там живёт Бог, но просто сам человек об этом не догадывается. Ему нужно прежде всего помочь понять самого себя.

— *Как ему помочь? Вот мы, верующие, узнали Бога... Мы очень рады этому, идём с этой радостью к другим людям, а они нас не принимают, отталкиваются от нас...*

— Очень трудно идти к людям, двигаясь вперёд напролом, проповедуя им нашу веру, называя их неверующими и заявляя о том, что нам вверена истина. Из этого действительно мало что получается, особенно сейчас, когда люди переросли эпоху своего детства. А вот когда это получается само собой, в процессе совместной работы, в процессе совместного труда... Я могу привести примеры нескольких своих учеников и сотрудников, которые мало-помалу стали верующими людьми. С ними я говорил обо всём, о чём угодно, но только не о вере. Но потом, по прошествии трёх-четырёх лет, я неожиданно обнаруживал, что этот чело-

век стал прихожанином нашего храма. Думаю, что именно совместная работа верующего человека с неверующим в конце концов приводит неверующего человека к Богу. Если, конечно, верующий ведёт себя честно. А если верующий человек ведёт себя нечестно в совместной работе с неверующими

было бы гораздо труднее, если бы я, во-первых, не был верующим, а, во-вторых, не попал бы в эту атмосферу. Вся юность моя — это потрясающие старушки, мои родственники и знакомые, моя юность — это потрясающая профессура, и открывание всё новых и новых людей, это потрясающие свя-



людьми, то он построит между ними и Богом китайскую стену. Он их оттолкнёт от Церкви, быть может, навсегда. Бывают ведь и такие случаи.

— *Отец Георгий, помните ли Вы, когда и как Вы пришли к Богу?*

— Я в детстве был очень верующим ребёнком, но по-детски верующим. Какое-то потрясение, реальную встречу с Богом во взрослом состоянии я пережил лет в 17, между 16, точнее, и 17 годами. Об этом я писал на страницах «Русской мысли» в очерке «Встреча». Не умею повторять то, что уже написано.

— *Наверное, было трудно верить в то время, особенно молодому человеку...*

— В те времена вокруг было много замечательных людей, и верующих, и просто чистых, и резких противников режима. И как в Университете, так и в окружении отца Александра Меня я попал в замечательную атмосферу, оказался среди удивительно глубоких и чистых людей. Наверное, мне

щенники и монахи. Нет, вера не делала жизнь трудной, наоборот, она делала тебя крылатым. В большинстве своём, мои трудности были связаны совсем с другим: с моим темпераментом, который всегда вовлекал меня в круговорот общественной жизни, с тем, что я никогда не мог смириться с тем, против чего бунтовало моё нутро.

— *Отличается сегодняшняя молодёжь от молодых людей Вашего поколения, и если да, то чем?*

— Я думаю, что, по большому счёту, ничем не отличается. Когда я разговариваю очень откровенно с сегодняшними школьниками или студентами — на исповеди, в Университете или в гостях, — то обнаруживаю, что и проблемы сегодня молодёжь волнуют те же, и выражаются они примерно так же. Думаю, что младшее поколение в любые исторические эпохи живёт примерно одними и теми же идеями, проблемами, переживаниями.

— *Как Вы думаете, есть ли у сов-*

**ременной православной молодёжи
определённые задачи?**

— Думаю, что у младшего поколения всегда одни и те же задачи: во-первых, учиться, чтобы сменить нас, когда это понадобится, а во-вторых, стараться реализовываться в чём-то добром. Помню, когда мне было восемнадцать, девятнадцать, двадцать, я всё время бегал по каким-то опекаемым старушкам. Был среди моих друзей слепой поэт, с которым мы гуляли или ездили на кладбище на могилу его жены. Среди моих друзей были старушки, которым надо было одной купить кефир, другой — сыр, у третьей вымыть пол или починить какие-то вещи. Кому-то надо было читать вслух. Была у меня замечательная приятельница — Анна Петровна Фёдорова, вдова депутата той Государственной Думы, что была избрана при Николае II, от партии октябристов. Она была слепой, очень любила Евангелие по-славянски. Среди её родственников никто по-славянски не читал. Поэтому я обязательно приезжал к ней несколько раз в неделю, чтобы почитать ей Священное Писание. Была у меня старушка, которой я читал вслух по-французски. И таких как я было очень много среди студентов 70-х годов. Думаю, что как раз в этом и заключается задача молодого человека: больше делать для людей вокруг и как можно больше и серьезнее учиться, потому что в молодости всё даётся невероятно легко. Буквально всё Бог даёт щедрой рукой. Упустить это время недопустимо. Кроме того, молодой человек непременно должен устывать, выкладываться. Когда мы не выкладываемся, тогда глупости приходят в голову и нас начинает коверкать эмоциональная волна и так далее.

— Как Вам кажется, какие главные проблемы сейчас испытывает молодёжь?

— Я думаю, главная проблема молодёжи в современной России в том, что младшее поколение очень мало вовлечено в общественную жизнь. Если взять Италию, Францию, другие известные мне страны мира, студенты в них всегда очень активны. Причём во всех сферах, не только в политике, но в социальной жизни: в помощи незащищённым слоям населения, в движениях разного рода, в художественной жизни, в литературе, в искусстве. Молодёжь всегда очень активна. Российская молодёжь чрезвычайно пассивна, если её сравнить с её ровесниками в Европе. И это очень плохо, даже опасно. Эта проблема в России стоит не

первое десятилетие. Мне вспомнился сейчас анекдот, который рассказывали в 60-е годы. Делятся два пожилых человека друг с другом мыслями и говорят: «Нам бы детей до пенсии довести, а дальше они уже как-нибудь без нас справятся...» В этом анекдоте отражена тенденция: Россия давно уже стала страной позднего взросления, позднего выхода человека на арену широкой общественной деятельности. Сейчас эта тенденция преодолевается. Даже если посмотреть на членов нашего правительства, там много людей, которым едва исполнилось 40. Сейчас меня немножко пугает другое: есть в сегодняшней жизни все основания для того, чтобы мало учиться. На скорую руку чего-то нахвататься и начинать зарабатывать. Но ведь так можно работать только в юности, а потом окажется, что нет багажа. И поэтому я боюсь, что сегодняшняя молодёжь не так много, не так глубоко учится, как это необходимо.

— *Отец Георгий, но ведь многие молодые не видят другого смысла в жизни, кроме заработка и развлечения. Им ни о чём другом не говорят.*

— Во-первых, всё-таки, говорят. Мы стараемся, и не только мы. Во-вторых, у меня есть несколько прихожан, молодых людей достаточно состоятельных, которые действительно много зарабатывают, но и много вкладывают в церковные дела. И я думаю, надо говорить открыто, что среди сегодняшних православных христиан младшего поколения есть очень активные бизнесмены, которые зарабатывают огромные деньги и огромные деньги вкладывают в добрые дела. Такие люди тоже есть, есть и другие... Вообще я не люблю говорить о тенденциях, но попытаюсь. Тенденция, я думаю, такова, что люди не очень много учатся. Скажем, если ещё 20-30 лет назад иностранные языки в России знали единицы, то теперь, конечно, очень многие неплохо владеют английским, французским, немецким или итальянским, но, когда начинаешь копать человека глубже, оказывается, что он ничего не знает. Мне недавно пришлось говорить с одним молодым испанистом. Он говорит по-испански свободно, это его специальность. Но оказалось, что он совершенно не знает испанскую литературу XX века, а это потрясающие имена. Это не только Гарсия Лорка, это и Унамуно, и удивительный поэт Рамон Хименес. А есть ещё ведь латиноамериканская литература нашего столетия, тоже потрясающая. Это Рубен Далил или Борхес, са-

мый знаменитый, Маркес и так далее. По имени он знал Маркеса и Лорку, а остальных он не знал даже по имени. Это довольно типично для нашего времени. Поверхностное знание, которое не даёт глубины. С этим знанием неплохо можно прожить в двадцать лет, а потом окажется, что здорово не хватает.

— *Как Вы считаете, должна ли эта ситуация измениться? Ведь, если честно, и я, прежде чем прийти в Церковь, учился только для того, чтобы заработать N-ное количество долларов и вести определённую жизнь. Ничего другого я не знал. Придя в институт из школы, я думал, что наука — моя цель. По тому, как меня учили в институте, я понял, что наука целью быть просто не может. И я постарался ограничиться именно теми знаниями, которые мне нужны для того, чтобы зарабатывать. А для того, чтобы заниматься так, как Вы говорите, нужно видеть очень-очень далеко.*

— Думаю, что ситуация может сдвинуться с места. Хотя проблема не в молодёжи, а в среднем поколении, в тех людях, кому сейчас от сорока до шестидесяти. Среди них, увы, очень немного таких, которые могут настоящему зажечь молодёжь. Если взять любой из московских университетов, которых теперь довольно много, я знаю потрясающих преподавателей, у которых абсолютный контакт со студентами. Хотел бы назвать хотя бы четверых. Это Владимир Вениаминович Библихин, известный философ и блестящий переводчик. Поэтесса Ольга Александровна Седакова, Анна Ильинична Шмаина-Великанова. Такие преподаватели дают студентам чрезвычайно много, открывают перед ними горизонты. Студенты начинают читать книги, просиживать в библиотеке до закрытия. Как библиотекарь, а я всё-таки работаю в библиотеке и иногда общаюсь с читателями, могу сказать, что для меня самое важное — понять, кто уходит из библиотеки последним. И как человек расстаётся с книгой вечером, перед закрытием библиотеки. Смотреть на этих студентов для меня — событие. Я иногда удивительно радуюсь за этих людей. Есть Светлана Александровна Коначёва, философ, преподаватель РГГУ. Эти люди могут увлечь молодёжь, повести за собой, а главное, открыть перспективу, показать глубину знания и научить любить интеллектуальный труд и видеть в интеллектуальном труде его духовный компонент. Но среди

среднего поколения таких мало...

— *Вообще это не удивительно.*

— Не удивительно, мы же прошли через мясорубку, задача которой заключалась в том, чтобы нивелировать личность, отнять у человека его «Я». Скажу более: среди людей среднего поколения яркие есть, но они очень часто бывают замкнутыми и в свой внутренний мир никого не допускают. Я вам назвал имена четверых людей, которые всё время работают с молодёжью, всё время отдают себя

нас, выходцев из 60-х годов, из советского времени, раздели души, которые отвечают за это, просто-напросто заблокированы.

— *У меня остались достаточно тёмные воспоминания о моём институте. Как Вам кажется, у Физтеха есть какое-то будущее?*

— В истории Физтеха были очень разные эпохи. Когда я пришел туда работать, ещё были очень сильные, потрясающе яркие студенты и очень хорошая атмосфера огромного интереса

личные, и общественные проблемы с огромным внутренним накалом. Но это же тоже пройдёт. Я думаю, что эпоха лёгких заработков уходит. Наступает эпоха стабильных, может быть, хороших заработков, но всё-таки тех, которые будут доставаться в результате серьёзного труда. И если мы возьмём какую-нибудь страну вроде Франции и Италии, то увидим, что за элементарный перевод, который может сделать студент I—II курса, он будет получать копейки. А настоящий мастер художественного перевода будет получать за свой труд серьёзные гонорары. Ведь для того, чтобы достичь этого уровня, для того, чтобы тебе платили триста долларов за полчаса работы, надо было тридцать лет ежедневно просидеть в библиотеке. Получается, что человеку платят эти деньги не потому, что он их заработал сегодня, а потому, что он их до этого зарабатывал в течение тридцати лет, питаюсь иной раз чёрным хлебом и кипятком, поскольку на чай не хватало. Это — нормальная ситуация, но в России она пока не работает.

— *Спасибо, отец Георгий, и напоследок не могли бы Вы обратиться к молодёжи со страниц нашего журнала?*

— Обратиться к молодёжи — это что-то слишком серьёзное. А я человек, к счастью, не совсем серьёзный. Когда-то один из самых моих больших друзей, Наталья Леонидовна Трауберг, сказала: «Хорошо, что мы с Вами, отец Георгий, смешные. Это нас спасает от важности, это нас спасает от надменности». И я горжусь тем, что не в моём вкусе важничать, не в моём вкусе изображать из себя человека, который может чему-то научить. Самое главное, что, как мне кажется, можно сказать со страниц журнала читателю, это то, что мы должны размывать границы между поколениями, что мы должны дружить и со старшими, и с младшими, и как-то по-доброму и уважительно относиться друг к другу. Хотя, наверное, это обращение будет обращением как раз не к молодёжи, а к людям моего поколения и к самому себе: дружите с молодёжью, дружите со студентами и людьми школьного и студенческого возраста, относитесь к ним с уважением, пытайтесь понять их, не навязывайте им себя, и тогда они заинтересуются Вами и начнут раскрываться в общении с Вами. И тогда вместе мы сумеем сделать очень многое.

Беседовал Иван КЛОЧКОВ
Журнал «Дорога вместе», 2000 г



студентам. А очень многие представители нашего поколения превратились в людей кабинетного типа. Они не умеют, не хотят, не могут по каким-то причинам работать с молодёжью. «Профессорский пафос», который был типичен в начале века, в последующих поколениях очень сильно угас.

— *Может быть, для того чтобы работать с молодёжью, нужно, прежде всего, любить молодёжь, любить каждого своего студента?*

— Я думаю, что даже не любить молодёжь, а любить человека вообще, любить человека. Очень важно, чтобы человек был тебе интересен. Потому что тогда преподаватель хорош, тогда у него что-то получается, тогда что-то получается у священника, когда ему интересен собеседник. Когда он не пытается сделать из собеседника копию самого себя, когда он не просто учит его, но и учится у него. О. Александр Мень — это потрясающий пример того, как священник учился у своих прихожан, а не только учил их. И каждый настоящий профессор постоянно у своих студентов и аспирантов учится, а это далеко не у всех получается. Я думаю, что у многих из

ко всему. Обычно после лекции меня буквально на руках, чтобы я не сбежал на электричку, доносили до общежития. Там начинались бесконечные чаепития, сначала в одной комнате, потом в другой, потом в третьей. И если я возвращался в Москву, то не раньше, чем с последней электричкой. Мы успевали обсудить очень серьёзные, важные вещи, почитать на французском тексты Вийона или Ронсара. А потом вдруг с этой атмосферой что-то случилось, она начала иссякать. А когда нет атмосферы, то и яркому человеку трудно вырваться из того, что происходит вокруг него. Почему это произошло? Может быть, потому, что ушло старшее поколение, может быть, потому, что появилась возможность быстро заработать большие деньги. Когда я начинал, на Физтехе все студенты были безумно нищими и не имели никакой возможности заработать, кроме как мести улицы с четырёх до семи утра перед лекциями и получать за это какие-то копейки. Теперь возможность заработать (в сущности прекрасная) отвлекает от того, к чему молодёжь больше предназначена: учиться, размышлять, переживать и



Weissen, weiten Wellen... Белые, дальние волны... Это «*Nordsee*», «Северное море» Генриха Гейне. Сидя на каком-нибудь камне, я часами мог смотреть на эти волны. Смотреть и слушать их «шорох, шёпот и свист, смех и бормотание, журчание и вздохи»... *Seufzen und Sausen...* «журчание и вздохи»... На русский язык все эти слова переводятся лишь очень приблизительно, да и вообще стихи Гейне зачастую просто не поддаются переводу именно в силу своей простоты. Но зато их не трудно читать по-немецки даже тому, кто почти не знает немецкого языка.

Seufzen und Sausen... Я вслушиваюсь в эти слова... и понимаю, что это действительно они, белые волны Балтийского моря, **вздыхают и шумят** в моих ушах. Вздыхают и шумят... Гейне, когда в 1825 году он написал «Северное море», было почти тридцать, мне, когда я открыл для себя эти стихи, не было и двадцати. Но всё это не так уж важно, поскольку, когда поэт рассказывает, как в печальной задумчивости и в одиночестве — *gedankenbekümmert und einsam* — сидел он на пустынном берегу моря, я сразу понимаю, что это **мой** поэт, а стихи написаны для **меня**.

Солнце уже опускается в серебристо-серое море, а следом плывёт розовеющий воздух, «а над морем на брюхе лежит неуклюжий северный ветер» — *liegt der ungestaltete Nordwind...* Лежит и рассказывает древние саги Норвегии...

Я купил книжку со стихами Гейне в Риге, в центре города, в двух шагах от Домского собора, откуда по вечерам доносился «строгий гул органа», или *rauschende Orgelton* (это тоже «*Nordsee*»). Купил — и сразу понял, что должен прочитать её от корки до корки, и, хотя немецкий был для меня бесконечно труден, вооружившись словарём, я не только прочитал «Северное море», но и почти выучил его на память. Гомер и его Одиссея, образы Греции и палящее солнце Эллады, тоска и томление, звук шагов по омываемому волнами песку и прекрасная дочь рыбака, сидящая у очага... *wunderschoene Fischertochter...* В хижине на берегу моря...

И это странное *einsam* — «один» или «одинокый»... У Гейне, по-моему, чуть ли не самое употребительное слово. Тогда оно удивительно отвечало моему настроению: светлому одиночеству или радостной печали,

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

БЕЛЫЕ, ДАЛЬНИЕ ВОЛНЫ

в которой так много соли, солнца и моря, а главное, света... «Я лежал у самого борта и мечтательными глазами смотрел в зеркально-прозрачную воду»... *in das spiegelklare Wasser...*

Латвию я любил, ибо, вырываясь туда, я психологически чувствовал себя в безопасности. Здесь меня никто не знал, а поэтому было так легко потеряться и чувствовать себя бесконечно счастливым. Студент-филолог, я жил в мире, где образы, вычитанные из книг, мешались с реальными переживаниями, в мире, где царствовала грамматика с её непререкаемыми законами. Царствовала, раскрывая мне удивительные глубины в каждой фразе, в каждой глагольной форме и в звучании каждого слова. В мире, где всё было таким же *spiegelklare* (то есть «прозрачным»), как та морская вода, о которой рассказывает Гейне.

Благоуханье сосновой смолы смешивалось с запахом моря, и мне казалось, что здесь нет ни советской власти, ни государственного атеизма, ни оперотрядовцев, что в пасхальную ночь не пускают в московские церкви студентов. На самом деле, однако, Латвия была тогда вполне советской, быть может, даже в большей степени, чем Россия, ибо здесь просто в силу национального характера латышей было больше дисциплины. Но меня это тогда не касалось. В Латвии я не зависел «ни от деканата, ни от комитета» и принадлежал только себе самому.

Закинув сумку за плечо, я с раннего утра уезжал на взморье, где меня ждали дюны, сосны и волны... *Weissen, weiten Wellen...* Белые, дальние волны... И Бог Израилев, *quoniam ipse est mare*, что значит «яко Его есть море», как говорится в одном из псалмов. «Великое и пространное»... *Magnum et spatiosum...*

В Латвии царит особенная, латышская чистота... Здесь всё вымыто и покрашено, а поэтому кажется, что ты действительно попал за границу.

Аккуратные пожилые латышки с сумками возвращаются из магазина, а их мужья что-то мастерят каждый у крыльца своего домика. Цветы наполняют палисадники, а девушки, похожие на ту прекрасную дочь рыбака, что описана у Гейне, спешат к железнодорожной станции. Наверное, они едут в Ригу за книжками, чтобы готовиться к вступительным экзаменам в университет.

И всё-таки Латвия отличается от России не только своей чистотой и аккуратностью. Здесь в 30-е годы ещё не было советской власти, а поэтому не было и тех разрушений, что тогда прокатились по России. Вот почему тут остались целы почти все церкви. Лютеранские, православные и католические... И не только целы, но и открыты. Здесь вплоть до начала Второй мировой войны существовали русские издательства, которые продолжали работу и издавали книги и журналы, как это было до революции, а русские дети учились в самых настоящих гимназиях. Поэтому из того, что было начисто утрачено в России, здесь что-то всё-таки сохранилось.

А вообще Рига похожа на тот «старый голландский город», что пригрезился Гейне, когда он лежал «у самого борта» и смотрел на воду, а взор его уходил на дно морское, всё «глубже и глубже». *Tiefer und tiefer...* Он видел башни, купола церквей и парадную лестницу ратуши, зеркальные окна и подстриженные липы на бульварах... Улицы старой Риги. Орденский замок, церковь Скорбящей Богоматери, Пороховую башню... А по улицам проходят «степенные мужи, одетые в чёрное» и «шелестя шелками, гуляют девушки в узких корсажах». Я не знаю, как это получилось, но Генрих Гейне уже описал всё, что я увидел тогда на улицах старой Риги. Весь город — *altertümlich niederländisch...* «Старинный, голландский»...

«Пожилые дамы в скромнейших

коричневых платьях молитвенник держат и чётки и семяны, торопясь, к большому собору». Эту картину я наблюдал каждый вечер, когда к церкви святого Якоба стекались старушки-латышки, чтобы вместе читать Розарий. «С чётками в руках» — *Rosenkranz in der Hand*. В руках у них были самодельные чётки, ибо, конечно, чётки тогда нигде не продавались, и затёртые до дыр молитвенники, изданные до войны. И звучали по-латышски под древними сводами их молитвы — «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». Не они ли, их молитвы, мешаясь с молитвами русских старушек, сохранили тогда всех нас, «избавляя нас от лукавого»?..

Старые натруженные руки перебирают бусины на чётках, старые надтреснутые голоса повторяют слова молитвы: «И благословен плод чрева Твоего... Святая Мария... молись о нас, грешных... ныне и в час нашей смерти. Аминь». Слова, знакомые с раннего детства, звучат наполовину непонятно, но голоса у этих старушек такие чистые и родные, что кажется мне, будто и сам этот язык я знаю с самого рождения.

Мне вспоминается, как по дороге в Ригу, ещё в вагоне, крепкая пожилая женщина, вдова советского генерала, говорила моему соседу громко и резко: «Нам латышский язык нужен не был. У нас было всё своё, гарнизонный магазин, кино и школа. И вообще мы с латышами не общались...» А сосед оказался латышом, из числа депортированных в Сибирь в сорок пятом. Он просто выскочил в коридор и не возвращался в купе до поздней ночи.

«Молись о нас, грешных... ныне и в час нашей смерти», — продолжают свою молитву старушки. «В час нашей смерти», *in hora mortis nostrae*... И встаёт у меня перед глазами разрушенное еврейское кладбище, что находится почти в самом центре города, неподалёку от вокзала. Немцы здесь расстреливали евреев, а после войны советская администрация в рамках борьбы с «безродным космополитизмом и мировым сионизмом» превратила кладбище в сквер. Дорожки, деревья, скамейки. И торчат из под земли то здесь, то там обломки белых плит с замысловатыми надписями... «На реках вавилонских, тамо седохом мы и плакахом»...

А ведь и Гейне был евреем... Кни-

га его стихов, случайно купленная мною именно в Риге, сделала его для меня почти местным жителем, хотя здесь, в Курляндии, кажется, бывал только его младший брат Максимилиан. Я выхожу на улицу: *es fliehen die Wolken*. «Плывут облака». И так же, как и Гейне, мучат меня вечные вопросы, на которых готовых ответов не бывает. «У ночного пустынного моря стоит юноша с сердцем, полным тоски...» Вопросы... Вечные и проклятые вопросы...

В одном из рижских музеев хранится средневековый фонарь, сделанный из согнутого в цилиндр железного листа, по всей площади которого на расстоянии приблизительно сантиметра друг от друга пробиты маленькие отверстия в форме звёздочек. Внутри него вставляется всего лишь одна свеча, но в руке у путника он удивительно ярко освещает дорогу.

Евангелие очень похоже на этот фонарь. Оно не даёт ответов на наши вопросы, но зато освещает дорогу, по которой мы идём, выхватывая из тьмы только какие-то отдельные фрагменты действительности, но именно те, которые увидеть нам сейчас необходимо. «И свет во тьме светит». Вот, наверно, что означают эти слова: *Et lux in tenebris lucet*...

В отличие от прожекторов, что вспыхивают теперь над стадионами, или от огней рекламы, освещающих по ночам улицы больших городов, этот фонарь освещает совсем не всё вокруг, а только дорогу и только для путника, для того, кто идёт вперёд. Для того, кто старается и не хочет сдаться и заблудиться. Освещает — всего лишь одною свечой. А нам всё хочется не света, а ответов. На наши «вечные» вопросы... *Und ein Narr wartet auf Antwort*... «И дурак ожидает ответа», — говорит Гейне.

Так не будем же дураками!

Обычно я уезжал далеко от Риги, но однажды решил прогуляться вблизи города и случайно забрёл на территорию какого-то «охраняемого объекта», кажется, судоремонтного завода. Разумеется, меня задержала, а вернее, «обезвредила» охрана — два слегка подвыпивших старика с офицерской выправкой. Проверив документы, они уже было решили меня отпустить, но тут заметили, что в руке я держу книжку на иностранном языке, хотя по паспорту числюсь русским и, более того, жителем города Москвы. Это привело их в до того возбуждённое состояние, что они стали звонить в КГБ. «Шпион», — почти беззвучно прошептал один другому.

Я пытался объяснить, что в книжке моей нет ни шпионских инструкций, ни карт, ни планов, поскольку это стихи немецкого поэта, который давно умер, но меня уже никто не слушал. Я был арестован и заперт в комнате с какими-то вонючими матрасами, где просидел довольно долго, часа три или четыре. Правда, в «органы» мои тюремщики дознаться почему-то не сумели, а попали в собственную бухгалтерию, откуда в конце концов пришла полная латышка, у которой сын, как она мне с гордостью сообщила, тоже учился в университете. «С интеллигентами всегда что-то случается», — сказала она сурово и, пожелав мне успехов, отпустила, заметив, что территория завода «почему-то» не огорожена.

Темнело. В пустом трамвае, перебирая чётки, как латышская старушка из церкви святого Якоба, я возвращался в город, а из Домского собора в эти минуты, наверно, доносился «строгий гул органа», ибо солнце уже опускалось «в серебристо-серое море».

БОГ СОКРОВЕННЫЙ

Всякий раз, когда в Париже я оказываюсь неподалёку от церкви Сен-Сюльпис (её башни, согласно ироничной реплике Виктора Гюго, напоминают два больших кларнета), мне вспоминается Бальзак и его «Обедня безбожника». Совсем небольшой текст из «Человеческой комедии», в котором он выводит в качестве героя профессора Деппена. Знаменитого парижского хирурга, ныне забытого, подчёркивает писа-

тель, опубликовавший этот рассказ в 1836 году. Этот блестящий учёный, диагност и клиницист, не верил «в бессмертие человеческой души. Деппен не сомневался, он отрицал. Это был откровенный, чистейшей воды атеизм, который присущ многим учёным людям». И этот человек четыре раза в год в течение более чем двадцати лет регулярно бывал в церкви Сен-Сюльпис.

«Великий Деппен, этот атеист, так



безжалостно издевавшийся над ангелами, которые недоступны ланцету, не знают ни фистулы, ни гастритов, — этот неустрашимый насмешник смиренно стоял на коленях... и где же? В часовне Святой Девы! Он отстоял там мессу, пожертвовал на церковь, на бедных — и всё это с той же серьёзностью, как при какой-нибудь хирургической операции».

Делал это Деппен в память о давно умершем водовозе из Сен-Флура по имени Буржа. Этот человек спас великого хирурга, а тогда бедного студента, от голодной смерти и стал для него «самой заботливой матерью» — Буржа «был образцом простосердечной веры... хотя он и был страстно верующим католиком, он ни разу не сказал мне ни слова о моём неверии», — рассказывал потом Деппен одному из своих ассистентов.

Что приводило учёного хирурга в церковь Сен-Сюльпис? Только ли благодарность и желание честного человека непременно выполнить волю покойного, который, как признался Деппен своему ученику, «робко заговорил со мной однажды о заупокойных мессах; он не хотел навязывать мне такого обязательства, думая, что это значило бы требовать платы за свою помощь»... Наверное, что-то несравнимо более глубокое.

Благоговение? «Он принял последнее напутствие церкви как святой, ведь он и был святым, а смерть его была достойна его жизни», — говорил «неустрашимый насмешник» о своём друге. Шли десятилетия. Деппен из студента превратился в старика, но всё продолжал приходить в церковь, входя туда «через боковые двери с улицы Пти-Лион», и опускаться на колени в часовне Святой Девы.

Из одного только чувства долга? «Бьяншон, лечивший Деппена во время его последней болезни, не решаетесь теперь утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом», — пишет Бальзак, заканчивая свой рассказ. Я всегда вспоминаю об этом, глядя на серые башни церкви Сен-Сюльпис, действительно очень похожие на два больших кларнета...

Мой покойный отец был профессором математики и серьёзным учёным. Как-то я подарил его книгу, в которой, увы, сам не могу понять ни слова, одному молодому физику, моему соседу. Зайдя к нему на другой день, я застал этого молодого человека лежащим на диване с книгой

моего отца в руках. Он читал её с таким увлечением, как может читаться разве что детективный роман.

Человек необычайно острого ума, отец обладал бесконечной ироничностью и был временам и до предела резок и даже безжалостен в своём почти галльском остроумии. Кто только не оказывался среди жертв его иронии! Доставалось всем. По вечерам он любил рассказывать о том, как напишет свой очередной роман — о коллегах, о политике, об истории советского режима и так далее. По утрам, читая газеты, беспощадно «изничтожал» всех без исключения упомянутых там персонажей. Но все его романы, разумеется, так и остались ненаписанными. Он вообще ничего не писал — ни писем, ни дневников. Только книги по математике.

Когда я собирался в церковь, отец всегда, трогательно провожая меня, будто малого ребёнка, произносил, имея в виду известную поговорку, одну и ту же фразу: «Что, опять пошёл лоб расшибать?» — беззлобно, но с беспредельной иронией. При этом он иногда вспоминал, как в детстве был «мальчиком с иконой»: не раз ходил по переулку, ведущему к храму Ильи Пророка близ Остоженки, впереди свадебной процессии, неся икону, которой родители только что благословили молодожёнов перед венчанием. А в Страстную пятницу брал с собой в школу будильник (наручных часов у него не было), чтобы не опоздать в церковь к выносу плащаницы.

Как-то, вернувшись из Одессы, куда ездил читать какие-то лекции в университете, он рассказал, что был там в католическом храме, — счастливый оттого, что священник окропил его святой водой перед началом воскресной мессы. Сразу вспомнил о своих польских предках и о том, как одна из его тётушек, Антонина Квятковская, перебирала чётки и тихо бормотала, сидя на скамеечке перед православной Казанской иконой Божьей Матери, «*benedictus fructus ventris tui*» — «благословен плод чрева твоего», — значит, читала розарий. А было это всё там же — в Обыденском переулке на Остоженке в начале двадцатых годов. В революционной Москве.

Так получилось, что в церкви с ним я был только один раз за всю жизнь, и то в течение десяти или пятнадцати минут. Мне тогда ещё не исполнилось восьми лет. Отец повёз

меня в Коломну, показать кремль (тогда он, восстановленный теперь, стоял в развалинах), Маринкину башню, где была заточена Марина Мнишек, и устье реки Москвы — там она сливается со стальными водами Оки.

Было яркое июньское утро, которое помнится мне, словно это было вчера. У самой станции стояла единственная тогда в Коломне действующая церковь. Обедня кончалась. На клиросе пели «Видехом свет истинный». Эти слова я прекрасно помню (быть может, вообще в мою память они врезались именно с того дня), потому что в храме было очень много света от летнего солнца, и вообще день был полным света.

Мне кажется, что отец тогда молился. Во всяком случае, всегда, читая у Бальзака о том, как Деппен стоял на коленях в церкви Сен-Сюльпис, я вспоминаю то далёкое утро в Коломне. При этом мой отец всячески демонстрировал своё полное неприятие постов и других церковных установлений и, подобно профессору Деппену, смеялся над ангелами и святыми.

Ещё один человек именно такого плана описан в книжке, над которой проревело чуть ли не по всему миру не одно поколение девчонок, — в «Серебряных коньках» у Мери Мейд Додж. Это утверждавший, что «медицина — это скверное занятие», резкий и ироничный доктор Букман, пытавшийся выглядеть злым и недоброжелательным. Это он сделал операцию, которая после долгих лет болезни и полной безнадёжности вернула рассудок отцу Гретель, главной героини повести.

Похоже, что доктор Букман — это атеист в стиле Деппена, ибо, когда больной, очнувшись, принимает врача за пастора и просит его прочитать главу из Библии, тот не без раздражения передаёт книгу ассистенту. Но, с другой стороны, именно он, когда тётушка Бринкер, жена больного, сказала детям: «Что же вы не благодарите меестера?», встретившись с нею глазами, показал рукою **наверх**. Давая понять, что благодарить надо бы не его, а Бога.

Deus absconditus («Бог сокровенный»), как говорит Исайя, или *Pater tuus, qui est in abscondito* («Отец твой, Который втайне»), как повторяет несколько раз Сам Иисус в Нагорной проповеди, каждому открывается по-своему. И, наверное,

учёному и позитивисту действительно трудно, а порой невозможно принять всё то, что мы называем догматами. Но это вовсе не говорит о том, что он не может принять Бога — просто и непосредственно, без каких бы то ни было догматов и богословских мнений, иначе говоря, *in abscondito*, втайне.

Профессор, описанный у Бальзака, был старше моего отца лет на сто пятьдесят, не меньше. Но в чём-то они были современниками. И у того и у другого юность пришлась на годы революции и торжества атеистической доктрины, ибо Деппен должен был родиться не позднее 1770 года. Оба в своём профессионализме были много выше митингового пафоса и поэтому не вслушивались в

«музыку революции», но оба были детьми своей эпохи. Оба считали себя позитивистами.

С другой стороны, и к Деппену, и к доктору Букману, и к моему отцу подходят слова Бальзака, писавшего о своём герое, что «всё в Деппене носило **личный** характер». Поэтому, считает Бальзак, он не мог быть «выразителем или фигурой своего века» или типическим героем, как бы сказал советский литературовед 50-х годов. Однако именно это личное начало, когда оно оказывается сильнее всех веяний эпохи, типичных для неё установок и точек зрения, делает возможной для человека, вне зависимости от его мировоззрения и вопреки его взглядам и убеждениям, его **личную** встречу с Богом.

и всегда носил потёртые костюмы, ибо зарабатывал какие-то копейки. Ходил в церковь, но, неисправимый чудаки и «человек в футляре», выбирал храмы с паркетным полом, ибо считал вредным стоять на каменных плитах; соблюдал все посты, но при этом стеснялся этого ужасно, ибо считал, что вера выражается не в «диетическом питании», а в чем-то другом.

Его мать Владислава Рудольфовна Дитрих и младшая сестра — тётя Ксения — умерли во время блокады... Мать была католичкой, а сестра, читавшая почти исключительно по-немецки и обожавшая романы Евгении Марлит, — почти лютеранкой. От неё осталась только одна книга — Лютерова Библия в чёрном переплёте, с множеством закладок и карандашных пометок... Отец его, как и сам дядя Серёжа, был православным: но, говорил он всегда, «перегородки до неба не доходят».

После войны он остался один, но уже летом 1945 года встретил прямо на улице свою бывшую невесту, которая к тому времени уже овдовела. Так у него вновь появилась семья. Наталия Философовна надеялась стать балериной, но всю жизнь проработала в филармонии билетёршей, хотя училась хореографии не без успехов. Она тоже была *sui generis* эмигранткой — в своём родном, в своём собственном городе, где девочкой бегала на уроки танцев и гуляла по аллеям Летнего сада с юнкером, за которого потом побоялась выйти замуж, ибо не хотела стать женой чудака и неудачника, но потом всё-таки прожила с ним сорок лет... И прожила прекрасно... в огромной питерской коммуналке и на грошовую пенсию. Скучно, честно и бесконечно трогательно.

Когда читаешь у Бунина про генералов, которые в Париже стали таксистами или рабочими на «Рено», когда встречаешь во французской литературе упоминания о русских аристократах, преподававших музыку маленьким детям на Монмартре или близ парка Монсури, просто не можешь не задуматься о тех их двоюродных, а иногда и родных братьях и сестрах, что остались в России. Об эмигрантах внутри страны.

О них не написано почти ничего, поскольку жизнь их была во много раз более незаметной, чем та, что была прожита русскими в Париже. В России именно незаметность была непременным условием для выживания.

ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ

Дядя Серёжа был художником. Дальний родственник моего отца, он приезжал к нам в Москву из Питера с большой папкой, в которой лежала бумага, и с пеналом для остро наложенных карандашей. Всегда, даже в жаркие дни июля — в плаще, надетом поверх пиджака, и с галстуком на шее, в неприменной кепке и чёрных ботинках. Настоящий «человек в футляре» — мнительный и безумно боявшийся простуды.

При этом, однако, он был настоящим аскетом, человеком поразительного трудолюбия и редкой честности, которая требовала большого мужества. Рано утром он уходил на этюды и возвращался домой часам к девяти вечера, уставший и счастливый. Было ему сначала семьдесят, потом — восемьдесят, наконец — девяносто, а он всё работал и работал... И не считал возможным остановиться.

Сын царского генерала, бывшего военным строителем и, кажется, специалистом по фортификации, он и сам в дореволюционные времена окончил Михайловское училище, размещавшееся в Инженерном замке близ Марсова поля. В том самом замке, где некогда был убит император Павел. Стал военным инженером, потом учился на архитектурном факультете Академии художеств, но архитектором из него не получился, ибо по призванию дядя Серёжа был пейзажистом и, главное, настоящим поэтом.

Дальтоник, он со временем превратился в исключительного мастера

карандашного рисунка, и только в последние годы стал писать акварелью — работая на пленэре, спрашивал у прохожих, приводя их этим в полное замешательство: «А какого цвета это здание?» или «А этот цветок, он розовый или синий?».

В Москву дядя Серёжа приезжал, потому что ему хотелось нарисовать все московские церкви без каких бы то ни было исключений. Получались эти рисунки у него действительно великолепно.

Жил он в старом петербургском доме неподалёку от Литейного проспекта вместе со своей женой в одной комнате, но в той самой квартире, что некогда принадлежала его родителям...

Посередине комнаты стоял огромный стол, над которым висела лампа со стеклянным, молочного цвета абажуром, в углу был зажат рояль, и повсюду — книги, картины и папки, бесконечные папки с записями, рисунками, чертежами, набросками и какими-то другими материалами. И ничего другого.

Младший его брат уехал во Францию, работал таксистом в Париже и иногда писал матери в Питер, хотя потом исчез: умер или испугался, что письмами может подвести брата... Стал эмигрантом и сам дядя Серёжа, только на другой манер.

В партию не вступил, карьеры не сделал, всю жизнь ходил в церковь и, в общем, этого не скрывал, а поэтому работал всего лишь в архитектурном техникуме, где преподавал начертательную геометрию, жил впроголодь



Они писали стихи и даже романы, а потом соседи по квартире выкидывали эти стихи на помойку, освобождая комнату от старого хлама. Они рисовали, а иногда и сочиняли симфонии и фортепьянные сонаты, но, как правило, всё кончалось одинаково: ноты эти оказывались на помойке, а «жилплощадь» занимал милиционер, которому надо было срочно улучшить жилищные условия.

Они никогда не печатались именно по той причине, что были эмигрантами, хотя жили не всегда так скудно, как дядя Серёжа, ибо иногда находили нишу, в которой можно было существовать: преподавали языки или переводили с французского, а иногда и с итальянского толстые книги, но упорно молчали. Молча и как-то бесконечно грустно радуясь тому, что, в отличие от большинства своих родственников и знакомых, уцелели сначала в 20-е, потом в 30-е и, наконец, в 40-е годы.

Об этом как-то мало говорится, но уцелели как раз те, кто сознательно решили «не высываться» — не вступать в партию, не защищать диссертаций и не пытаться вписаться в советскую реальность каким-то другим способом. У большинства из них не было детей, ибо те, у кого дети были, всё-таки стремились как-то легализоваться, чтобы обеспечить будущее дочери или сыну. И это нередко оборачивалось трагедией.

О эти милые и бесконечно трогательные семьи, состоявшие иногда из супругов, иногда из сестёр или кузин, иногда из двух поселившихся вместе подруг! Я застал эти семьи, когда они уже уходили. Хрупкие, болезненные, прозрачные и наделённые всеми возможными болезнями... Уходили не только в мир иной, но в полную неизвестность, ибо сегодня о них уже попросту некому вспомнить.

Году, наверное, в семьдесят третьем я уезжал из Питера, увозя с собой подарок дяди Серёжи — «Оправдание добра» Владимира Соловьёва, без переплёта и без первых страниц (именно поэтому книга у него сохранилась, а не была продана букинистам). Везя в портфеле Соловьёва, я чувствовал себя бесконечно счастливым, ибо был абсолютно уверен в том, что книга эта никогда не будет переиздана в России, а изданная где-нибудь в Париже, ни при каких обстоятельствах не попадёт в Москву.

С тех пор прошло больше двадца-

ти пяти лет. Умерла Наталия Фило-софовна — её отпевали в Николо-Морском соборе зимой. Помню, что это было как раз в те дни, когда скончался Шолохов, и поэтому дядя Серёжа, раздавленный горем и абсолютно больной, всё же до двух или даже до трёх часов ночи проговорил со мной о «Тихом Доне» и о том, что безграмотный мальчишка просто не мог написать этот роман. Вспоминал об офицерстве начала века, почему-то произнося слово «офицер» через «ы», о Первой мировой войне и о революции, о моём деде, которого в разговорах со мной почти всегда называл «твой отец», о своём брате, следы которого затерялись где-то в Париже в конце 30-х годов, о царе Николае, которого он, конечно, видел много раз, и много о чём ещё.

Через год умер и он, почти ослепший и наконец, в девяносто с лишним лет, почувствовавший себя стариком. «Житейское море воздвигаемое зря напастей бурю, к тихому пристанищу Твоему притек», — пели, отчаянно фальшивя, певчие в церкви на Охтинском кладбище во время его похорон. «Когда погребают эпоху...» — вспомнилась мне тогда строчка из Анны Ахматовой, ибо с ним, добравшимся до «тихого пристанища», действительно уходила эпоха. Уходил, окончательно и бесповоротно уходил в прошлое не календарный, а настоящий XIX век. Формально закончившийся 80 с лишним лет тому назад, он ещё в каком-то смысле продолжался благодаря людям этого поколения; теперь же он буквально на глазах становился древней историей. Тем более что, кроме рисунков (не знаю, целы ли они теперь), от дяди Серёжи ничего не осталось. Разумеется, никаких мемуаров он не писал.

А ещё через несколько лет было переиздано, и не один раз, а многократно, соловьёвское «Оправдание добра». Книга (я имею в виду сейчас именно тот её экземпляр), которая казалась мне бесценной, вроде бы перестала быть нужной, но зато обрела уникальность в каком-то новом смысле. Как памятник эпохе.

Владимир Соловьёв говорит о том, что мировая культура и человечество в целом немислимы без национальных культур и наций. Что же касается наций, то они не могут существовать без семей и без истории конкретных семей. Без семейных преданий и се-

мейной памяти просто невозможна национальная культура. Именно так пишет Соловьёв в том самом «Оправдании добра», которое я дрожащими от счастья руками положил в портфель в комнате у дяди Серёжи.

Когда у народа отбирают семейную память и заставляют его забыть свои семейные предания, именно тогда здоровое национальное чувство вырождается в его суррогат — непременно агрессивный национализм. Страшная беда России заключается не в чём другом, как в этой атрофированности памяти — не национальной, а именно семейной. С точки зрения Соловьёва, семья — это ни в коем случае не горизонталь (супруги и их дети), но вертикаль: дети, родители, деды, прадеды и так далее. Как раз эта

вертикаль с её памятью и историей в России конца XX века почти полностью отсутствует, что, по Соловьёву, является катастрофой для нации, которая может состоять только из таких семей, но ни в коем случае не из чего другого.

И совсем не обязательно происходить из семьи дворянской или купеческой, чтобы иметь эти предания. Они есть у всех. Моя старая знакомая вернулась осенью (это было всего лишь несколько лет тому назад) из рязанской деревни, где родилась её мать, и сказала с грустью: «Срубили дуб, который посадил дед Веденей». Оказалось, что это даже не прадед её, а какой-то совсем далёкий предок, живший неизвестно когда, может быть, «при Екатерине». Срубили дуб — и забудется дед Веденей, но и сейчас, увы, не думаю, что племянники этой моей знакомой интересуются его персоной. А ведь именно в этом заключается наша трагедия! Не национальная идеология и не какая-то идея, но именно семейная память необходима для того, чтобы мы, русские, из аморфной массы вновь стали нацией и в качестве нации — органичной частью человечества.

Но что мы можем сделать, чтобы восстановить её? Не поздно ли? Ведь умер не один только дядя Серёжа, но все его современники. Тем не менее, если начать по крупицам восстанавливать историю русской действительности уходящего столетия на уровне конкретных семей и их истории (очень негромкой и, казалось бы, невыигрышной для писателя), нами непременно будет найден выход из тупика, в который попала Россия.